Вит Ценев

Протоколы колдуна Стоменова

НЕОБХОДИМОЕ ВСТУПЛЕНИЕ АВТОРА

У этой книги трудная судьба... Судьба, иногда похожая на мрачную детективную новеллу. Написана она по материалам другой «книги», если так можно назвать тринадцатитомное уголовное дело, которое разрабатывало одно из подразделений Службы государственной безопасности г. София – тихий филиал Комитета Государственной Безопасности СССР, курирующий сеть специализированных психиатрических больниц. Но речь там шла не об инакомыслящих узниках совести и прочих противниках строя, усмиренно почивающих на больничных койках с диагнозами «острая шизофрения» или «параноидальный синдром». А все 13 томов расследования состояли из показаний 79-летнего Павла Стоменова, болгарского гражданина, который в 1978 году в ритуальных целях убил девятилетнюю девочку.

Павел Стоменов был благообразным пенсионером. Он скромно жил на полагающуюся ему пенсию в обыкновенной однокомнатной квартире на окраине Софии. При его аресте и изъятии вещественных доказательств понятые не были приглашены, протоколы не составлялись, дело стало закрытым с самого начала. Стоменов с момента ареста не промолвил ни слова. В кабинете следователя ему был поставлен предварительный диагноз: «параноидальная шизофрения», после чего он был госпитализирован. В общем-то, все, как часто это бывает, и ограничилось бы констатацией психического заболевания и принудительным пожизненным лечением, однако уже предварительное следствие выдало результаты, которые иначе как мистическими не назовешь...

Послужной список Стоменова при первой же проверке оказался, мягко говоря, не соответствующим действительности. Ни в одном из заявленных лечебных учреждений, (а по документам он был врачом) не нашлось ни единого упоминания об этом человеке. Следствие находило настоящее Стоменова: жилищные права, пенсионное удостоверение, фамилия в списках получателей пенсии – и ничего больше. Не нашлось родственников. Не женат. Детей нет. Больничной карты нет. Никакого криминального или уголовного прошлого. Ни один из десятков тысяч архивов, перерытых спецслужбами, не дал ни крупицы информации об этом человеке. Помимо пенсии, которую государство выплачивало Стоменову, и той жилплощади, которую он занимал, в Болгарии документально не существовало такого человека – Павла Стоменова, который спокойно жил в Софии и раз в месяц получал свою пенсию. Соседи не смогли сказать о нем ничего определенного, но, во всяком случае, изредка он с ними разговаривал. Попытки допросов Стоменова заканчивались его упорным молчанием. Он просто игнорировал происходящее вокруг себя. Выявленные факты сформировали две рабочие версии: первая заключалась в том, что Стоменов был тщательнейше законспирированный агент некоторой спецслужбы, в настоящее время то ли симулирующий, то ли действительно сошедший с ума; вторая – Стоменов является нацистским преступником, скрывающимся в Болгарии.

Версии были не очень убедительными и формировались по принципу метода исключения. Никаких реальных фактов следствие найти не смогло. Не нашлись и родители погибшей девочки...

А примерно через месяц Стоменов неожиданно заговорил. Спокойно попросил принести ему стакан минеральной воды...

...В 1991 году, еще до начала известных событий в СССР, в Болгарии начали уничтожать архивы КГБ и прочих спецслужб. Дело Стоменова вместе с тысячами других

«психиатрических» дел было равнодушно сожжено. По свидетельству очевидца, непосредственно присутствующего на допросах Стоменова, который вел стенограмму допросов, дело сочли закрытым и отправили в архив. Павел Стоменов давал показания непрерывно в течение трех недель. Иногда допрос затягивался до восемнадцати часов в день, причем подследственный не выказывал никаких признаков усталости, не просил перерывов, еды и всего другого, в чем обычно нуждается любой человек. Ближе к концу августа 1978 года он был найден мертвым в своей палате, которую тщательно охраняли круглосуточные посты. Его смерть, так же как и его жизнь, стала загадкой: врач констатировал остановку сердца. Сердце у него было абсолютно здоровое, состояние внутренних органов соответствовало возрасту тридцатилетнего человека...

Кристо Ракшиев, профессиональный стенографист, переводчик, человек с феноменальной памятью, всю свою жизнь проработавший в недрах спецслужб, на свой страх и риск копировал каждое слово, которое было произнесено на допросах. Потом он как-то сказал: «Мне было велено...» – и неуверенно показал рукой куда-то вверх. Горы окурков в пепельнице, бессонные ночи, воспаленные глаза: он рассказывал мне, торопился, захлебывался... Я бессчетное количество раз колол ему... сам не знаю, что именно. Умер Кристо неожиданно, у табачного киоска, от обширного кровоизлияния в мозг. Оставил меня с ворохом убористо исписанных тетрадей и конспектов.

Я не знаю до конца, правда ли это – все то, о чем говорил этот Стоменов. Мне кажется, что ПРАВДА... В такие минуты я испытываю нечеловеческий страх…

Я публикую эту книгу в России. Это – ваша правда и ваше дьявольское порождение...

Предисловие переводчика

В конце 1996 года я получил предложение перевести эту книгу на русский язык. Меня очень заинтересовала эта работа, потому что до этого ни с чем подобным мне сталкиваться не приходилось. Работал я очень тщательно, старался максимально точно воссоздать живую речь диалогов. На это у меня ушло примерно полгода... Когда я передал окончательный вариант перевода автору, тот сказал, что до сих пор в сомнениях относительно целесообразности публикации этой книги. Я высказал ему свою уверенность, что книга обязательно должна быть

опубликована. Разговор шел по телефону... В его голосе я слышал сомнение вперемешку с какой-то тоской. Он бросил трубку буквально на полуфразе, а перезванивать я не решился.

И только через два года, в конце 1998-го, он позвонил мне и поведал, что решился на публикацию. Книга выйдет в России, и только в России, – так он мне это преподнес, так он написал это в своем предисловии к этой книге. Когда я пишу эти строки, он ищет издателя, который бы его устроил. Обещал прислать парочку сигнальных экземпляров, как только они выйдут из типографии...

Лично на меня монологи Стоменова произвели сильнейшее впечатление. Эта книга изменила многие мои представления об этом мире. Иногда говорят – вот, я прочитал какую-то книгу, и она перевернула меня! Я скажу иначе – не мир перевернулся для меня, нет, – я сам начал крутить и переворачивать его направо и налево. Таков ли он, каким я его

себе надумал? Таков ли, как я его вижу? Таков ли, как мне говорят об этом окружающие меня люди? Я задавал себе – как в детстве задаешь взрослым бесконечные вопросы – тысячи новых и почувствовал, что многое в этом мире стало другим, предстало в других цветах, звуках и качествах...

Чем еще меня привлекает эта книга, так это возможностью, или, скажем иначе, – необязательностью читать ее последовательно, от корки до корки. Сама ее конструкция очень непоследовательна, поэтому выходит, что читать ее возможно тремя разными способами.

– Способ первый: начинаете с начала и идете до конца.

– Способ второй: пытаетесь читать книгу в календарных закономерностях, которые там прослеживаются.

– Способ третий: читать ее с любой, случайно открытой страницы.

Лично я рекомендовал бы прочесть ее три раза в том порядке, который я указал выше.

Выскажу свое субъективное мнение по поводу содержания этой книги. Оно затрагивает многие понятия и категории, относящиеся к природе добра и зла, нравственного и безнравственного, гуманности и жестокости... Поэтому я не рекомендовал бы читать эту книгу тем людям, которые слишком романтичны и душевно ранимы, которые слишком пропитаны понятиями нравственности и доброты человеческой... Мир гораздо сложнее представлений о нем, и разочарование от его реалий может оказаться очень болезненным...

Я вспоминаю и вспоминаю слова, услышанные в вольном пересказе автора: «Когда мы слышим о торжестве справедливости, то чаще всего мы не отдаем отчета в том, что речь идет не о справедливости, а о торжестве убийства неугодного члена общества или торжестве истребления неугодного народа»...

Алексей Черных

Девятый день допроса

Стоменов: – Раньше мужик деревенский где историю рода своего держал? Да в голове своей, и нигде больше. Ни фотокарточек не было, ни дневников не вели, и писем не получали, потому как ни читать, ни писать не умели, надобности такой не было. Теперя же много предметностей всяких хождение имеют – а что такое предмет, с человеком сродненный? Это средство великое, чтобы извести его можно было приемами особыми, магическими – заболел чтоб, или помер, или бессильным сделался... При нужде я могу пользовать то, о чем по молодости и помыслить не мог. Возьми, положим, ту же фотокарточку. Пошел я с фотокарточкой этой в ателье фотографическое, да и заказ сообразил – сделать портретик надгробный. Если ты, Борислав, думаешь, что чепуха все это, то спроси у себя – остался бы ты равнодушен, если б из фотокарточки твоей кто-то вот такой портретик закажет? Да еще и не случайно иль, положим, шутки ради, а с известным вражеским умыслом?

Историю одну скажу тебе. Одна женщина, уже в годах, любила человека одного, да только он к ней прохладно относился. Мучается она, жить без него не может – но жить-то надо, вот она и удумала его схоронить символически...

Если точным быть, то первую мысль ей бабка одна подсказала, а уж до всего остального она сама удумалась. Мысль такая была – относиться к человеку этому, будто помер он только что. Ну а баба мыслю эту развила дальше. Фотокарточки мужика этого у нее были, вот она и пошла в ателье енто – портрет надгробный заказывать. В траур оделась, скорбит не понарошку... Сделали ей два портрета – один для памятника, а другой, в рамке черной, с ленточкой наискосок – чтоб, значит, в комнате поставила да слезы горькие по муженьку покойному лила. В газетке объявление пропечатала, что умер, дескать, человек, и состоится панихида... Хошь – верь, а хошь – не верь, Борислав, да только помер мужик этот через девять дней после траура ее. Пришло к нему поначалу недомогание, затем хуже и хуже, совсем слег мужик, горячка началась – и врачи ничем помочь не смогли. Вот так символическая смерть буквальною сделалась, хоть и не желала этого баба, о которой я ведаю…

Другим средством сильным письмо особое будет, в котором, если погубить человека хочешь, писать ему надобно следующее: мол, уважаемый хороший человек, пишет вам доброжелатель ваш тайный. Спешу сообщить вам, что враг ваш пытается извести вас сильными средствами Смертной Магии. С вашей одежды нитка была взята от вас незаметно, и нить эта, на которой сорок узелков крепких завязано, левую ногу покойника одного, уже схороненного, оплетает. Это для того сделано, чтобы умерший этот связь с вами обрел нерушимую и в царство мертвых не смог отправиться, – и остается дух умершего между небом и землей до тех пор, пока связь эта не разрушится, а разрушиться она может очень скоро, потому как умерший этот изо всех сил будет стремиться вас за собой утянуть.

Только одно средство есть, чтобы от гибели неотвратимой избавиться. Нужно обмылок найти, которым любого другого покойника обмывали, только обязательно мужчину, – и в ближайшую полночь тщательно вымыться этим мылом. Тогда надежда есть, что связь ваша смертная разомкнется...

Следователь: – И что, найдется такой кретин, который не выбросит это письмо в корзину для мусора, а мыло покойничье искать будет?

Стоменов: – Найдется, не найдется – дело неважное, да только помрет этот недруг или заболеет тяжко. Все то, где жизнь со смертью пересечение делает, очень большую силу имеет. Иная вдова, когда муж умирает, в гроб его ложит вещь свою, словно преданность свою доказать хочет, да только это, по нашему разумению, почти тем же будет, что и руки на себя наложить. Смерть это означает скорую для вдовы ентой... А коли не торопишься в царство иное, то помни – не ложи к покойнику ничего своего, а только его вещи дорогие и при жизни ему значимые. Не ложи к покойному и ничего чужого, если только умысла не держишь извести владельца вещи этой. А пуще всего следи за тем, чтоб детское что-нибудь не попало в могилку: дети особенно слабые будут при пересечениях жизни и смертного часа.

Следователь: – Гуманист, я погляжу! О дитях заговорил...

Стоменов: – Чего ерничаешь, Борислав, аль обидел чем? Говорю, потому как надобность имею, и ничего другого не преследую. Ты все за девку эту переживаешь? Да остынь, уймись, тебе какое дело до нее будет. Убил – ну и убил, нужда мне в этом была – а ты,

гляди-ка! Никак к мучителям людским приписать меня удумал? Так напрасно это, потому как никаких удовольствиев от убиения я не получаю. Тебе велено меня слушать – вот и слушай, словечки свои мудреные попридержи... Коли умный, так и сам опосля поймешь, меня слухая, почто я девку жизни лишил, а коли нет – другие узнают, невелика беда.

Никола так учил нас: если говорить хочешь, то говори, а заботы о том, поймет тебя слухатель твой или не поймет, в голове не держи. И мне, Борислав, от разумения твоего сытости не прибавится...

Кристо Ракшиев (дневниковые записи)

Я всегда помню больше того, чем следовало бы обычному человеку. Многие вещи: события, поступки, произнесенные слова, картины прошлого – мне хочется забыть, похоронить их навсегда в недрах своего серого вещества... Но нет, память, моя треклятая услужливая память – она с невероятным упрямством цепляется за тысячи ничего не значащих для меня лиц, за десятки тысяч страниц исписанных бумаг, из которых добрую половину я помню, – помню, черт подери! – вплоть до каждой запятой... Я зритель, который просиживает задницу в кинотеатре своего бесконечного прошлого, я прожил большую половину своей жизни в этом затхлом кинозале, в полном одиночестве...

Сегодня я сел за свой облезлый письменный стол – и получился девятый день допроса. Словно кто-то толкнул меня под руку, ткнул носом в стопку писчей бумаги... Я ничего не делал, я только сидел и записывал то, что я слышу. Второй раз я в полной мере пережил то неуловимое беспокойство, которое я испытывал тогда, в кабинете следствия... Нет, в начале было только беспокойство – и ничего другого. Страх пришел позже, тогда, когда я увидел своими глазами то, что случилось со Стефаном... Бледный, как мел, он мочился прямо в углу палаты, сидя на корточках и озираясь пустыми невидящими глазами... С уголков его губ стекала слюна, и это было последнее, что я увидел в его лице. Санитар ударил его резиновой дубинкой по шее – он рухнул на пол и, наверное, разбил себе лицо... Дверь захлопнулась. Занавес...

Неужели я так плохо разбираюсь в людях? Стефан – почему он? Борислав мне казался послабее, с червоточиной – но время идет, я иногда вижу его в столовой, он не изменил своим вкусам и привычкам, на его столе всегда яичница и стакан томатного сока...

Девятый день допроса... Второй день... Одиннадцатый... Четвертый... Пишу рывками, кусками – как идет. Но в одном я уверен точно – каждая буква моих стенограмм звучала в том кабинете из уст следователей и ЕГО уст...

Меня разрывают в клочья мои воспоминания. Меня разрывают на части те противоречивые чувства, которые я выношу из них, которые я переживаю вновь и вновь... Он бог мой, которого я слушаю вечность. Нет! Он неодолимая слизь, болото, паук, в сети которого я попался... Он пьет мою кровь – а я улыбаюсь и смотрю в его глаза... Да, да, я молюсь на него – и я его ненавижу...

Когда-то мы его убьем. Но не сейчас, не скоро еще, и это очень хорошо. Пускай он поживет подольше...

Пишу, пишу, пишу...

Шестой день допроса

Стоменов: – ...Ты с нами? Ты наш? Ты знаешь те истины, которыми ведаем мы!?.. Нет? Чего же ты хочешь тогда?.. Отомстить? Убить? Превратить своих врагов в больных и немощных людей? Уничтожить все то, что для тебя есть Помеха, но не соприкасаясь с нашей силой, нашей верой, нашими знаниями?.. Так устроен мир: если Слабый ударил в спину ножом Сильного, если выстрелил из подворотни – кто слаб здесь, а кто силен? Скажи мне, Ты, претендующий на могущество! Жалкая букашечка, ты сидишь и боишься меня, тайком стираешь пот со своих ладоней, тискаешь липкую рукоять своего пистолета...

(Шепотом, наклоняясь). Давай, давай, я тебе подскажу, я тебе помогу. Не слушай меня, просто иди за моим голосом – и тебе откроется дверь, в которую ты войдешь...

Молчи! Три дня молчи, не пророни ни слова. Лучше всего уединиться, чтобы посторонние тебе не помешали. Это ты сможешь, я знаю. Некоторые разговаривают во сне, но ты не из таких... (сигнал прекратить запись допроса).

К женщинам тебя не тянет, это не очень хорошо. Когда есть желание, которому ты не даешь реализоваться, оно рождает истерию – это энергия, если уметь ею пользоваться. Но ты не умеешь... В дубовую коробочку, которую ты достанешь, набери земли с могилки. С какой именно – я говорю, а ты идешь за моим голосом. Недруг твой мужчина – и это первое: бери землю с мужской могилы. Найди смерть случайную, нежданную – таких много сейчас: вдруг – и нет человека. Коробочку свою землей с этой могилы наполни, а собирай ее только после полуночи... Укради еще вещицу, в его руках частую, она тебе понадобится. Фотографию его отдашь в ателье, закажешь надгробный портрет небольшого размера. Как только земля могильная, портрет, вещь будут у тебя – с полуночи любого дня МОЛЧИ! Три дня и три ночи уединись и не пророни ни слова. Идешь в первую полночь за голосом моим и хоронишь на краюшке кладбища свою кошку, которую ты убьешь... (сигнал продолжить запись). Есть земля обычная, а есть земля кладбищенская: мир земной и мир иной, и между ними граница, идешь за моим голосом, как мостик между берегами рек... Кошку закопаешь на мостике этих миров и проведешь по нему врага своего... Отсюда – туда. Во вторую полночь зажги свечу долгую или огонь разведи, только лишь бы само горело, пламя было. Костер лучше будет, ибо шерсти клок кошачьей, когда почувствуешь себя соответствующе, бросишь в огонь и затем спи... Сиди рядом с огнем и вспоминай все те беды, с врагом связанные. Не анализируй, не размышляй – вспоминай, вспоминай, вспоминай... Когда ярость переполнит тебя – бросай шерсть в огонь, после чего ты вскоре уснешь. В третью полночь рядом с зарытой кошкой выроешь могилку, положишь туда вещь его, засыплешь запасенной могильной землей, положишь сверху портретик надгробный и камушками выложишь сегодняшний год. После этого – если вправду все сделал как надо – умрет твой враг, если небрежен был в чем-то – очень худо ему будет, ошибешься и землю с женской могилы возьмешь – то жену его бесплодною сделаешь...

Без меня не сможешь ты этого, но я тебе подсоблю. Когда и где – не говори, я и так узнаю… У врага твоего будет две могилы на этой земле: твоя, магическая, и его, та, на которой он будет похоронен...

Следователь: – Стоменов, вы отдаете себе отчет в том, что вы говорите здесь?

Стоменов: – Отдаю, мил человек. У тебя даже ладони потеть... (сигнал прекратить запись)

перестали...

Кристо Ракшиев (дневники)

С самого начала во всем этом была какая-то чертовщина, бесовщина, мистификация. 79-летний старик, а мне только пятьдесят один, а сравните меня и его: да я ему, черт подери, в папы гожусь! Рослый, почти метр восемьдесят пять, широкоплечий, абсолютно седая голова, но лицо – ей-богу! – от силы сорокалетнего. Я слышал, как перешептывались медики, пожимали плечами: здоров был, как бык, – в 79 лет!!! Зрение, слух в норме, кровь, сердце, нервная система, печень, половые органы – ха! Я думаю, в постели с женщиной он дал бы молодежи трехкратную фору. Глаза у него были карие, яркие, невыцветшие, как это обычно бывает у стариков. Такие выразительные глаза – чаще всего спокойные, уверенные, иногда даже равнодушные. Один раз он весело подмигнул мне – я был с ним в комнате допросов без следователя, тот куда-то срочно вышел, охрана была на входе... Чего бояться – Стоменов постоянно приковывался наручниками к металлическому столу, вмурованному ножками в пол... Но меня иногда озноб бил от страха. Он подмигнул мне, выразительно тряхнул скованными руками и то ли спросил, то ли предложил: «Хошь сломаю?» Я вздрогнул, пожал плечами, отвел глаза, он усмехнулся, сказал: «Не боись, сынок...»

Он говорил уверенно, долго... Его почти никогда не перебивали: заговорил – так пускай мелет, пиши, потом разберемся, когда сыщики наши чего-нибудь да накопают. Но время шло, Стоменов говорил, а следствие результатов не давало. Потом приехали Советы, их следователь слушал его уже как-то целенаправленно, часто задавал вопросы, делал у себя какие-то пометки. Я по-прежнему стенографировал, а дома строчил стенограммы по памяти, засыпая иногда прямо за письменным столом... Много позже я осторожно наводил справки у людей, которые имели дело с гэбэшными архивами, но так толком ничего и не узнал. Одни говорят, что дело Стоменова Советы вывезли, другие – что никому это на хер не надо, и все сожгли к чертовой матери...

Родителей этой убитой девки так и не нашли. Я же говорю, бесовщина, словно они оба с луны свалились... Когда Стоменов сказал, что он урожденный русский, и заговорил на русском языке, рабочие версии следствия полетели к чертям собачьим, и дело было с радостью сбагрено Советам. Дело, в общем-то, прикрыли сразу, выясняли только – что за фрукт и с чем его едят.

Стоменов называл себя одним из тринадцати краеугольных камней Магии Смертной Силы. Страшного учения, которое он нам проповедовал... Двое из наших сошли с ума – один сдебютировал на седьмой день допроса, другой улетел в психушку в 1989 году, и, насколько мне известно, там до сих пор. Как я удержался – одному богу известно. Может, это ЕГО, Стоменова, воля, а может, потому что писал все это, выплескивал на бумагу. Приходило облегчение, опустошение...

Пилюльки, укольчики... Из службы меня турнули в девяностом, там уже всех лихорадило... да что я говорю, сам знаешь. Искал людей, хотел докопаться до истины, но все тщетно, все вилами по воде писано. Пиши по тому, что есть, сделай из этого книгу. А там, глядишь, в Россию подашься, деревеньку эту поищешь – глядишь, и выведаешь

чего. Был у меня такой порыв, но, чувствую, – нет, не слажу, совсем худо мне, так и оставил эту затею...

Магия Смертной Силы... Тринадцать ее Воинов... Да, и еще – в 2001 году они ждут Прихода своего Сатаненка... Там тоже чертовщина неуемная – не он придет в Мир этот, а люди его найдут, придут к нему и попросят Силу и Знание...

Восьмой день допроса

Стоменов: – Одни слова, которые вы говорите, могут давать вам Силу. Таких слов немного. Другие слова эту Силу отнимают, что встречается повсеместно. Если ты, Борислав, орешь на свою кухарку, что «по стенке ее размажешь», ты теряешь силу и опустошаешь себя. Но еще замечу к этому, что некоторые очень несмелые люди обладают, как это ни странно, опасной внутренней энергией. Они не в состоянии дать ни физического, ни словесного отпора, а все их утешение – это мечтать опосля, как бы они изничтожили своих врагов. Бойся таких людей, они не ведают, что могут уничтожить тебя, не пошевеля и пальцем. В народе часто говорят – «сглазили», «порча», но это не совсем так. Когда не знаешь Силу, навредить можно только случайно, вдруг, и никогда – целенаправленно.

Наша вера говорит, что слова «удавлю», «убью», «уничтожу» и многие другие подобные словоблудия являются деянием бессилия, а не силы. Маг Смертной Силы не пользуется силою своего тела, чтобы искалечить или убить человека. Более скажу, что не произносит он настрого угрожаний таких словесных. Мне вот семьдесят девять лет, и я могу убить быка одним ударом кулака, но никогда не сделаю этого. Я молчал сполна сорок дней и сорок ночей, для того чтобы приблизиться к магическому искусству. Четырежды я срывался – и все начинал сначала. Никола делал нам испытания: спишь, а тебе вилами в мягкое место. А заорать нельзя. Один раз я споткнулся на ровном месте, рухнув брюхом прямо на ежа... (улыбается). Тонул в речушке нашей, где коту по колено. Никола говорил: «Если совсем худо, то заорешь, не удержишь, а если можешь держать – гибни, тони, гори синим пламенем, но молчи»! На сороковой день стая волков прижала меня к болоту, наши мужики рядом совсем, траву косят, а я кричать не могу, рот одной рукой зажал, в другую сук, а волчищ штук двадцать... И вдруг слышу – ору, ору благим матом, а рот-то я себе намертво зажал, зубы стиснул, ажно челюсти свело. Волки шмыг, шмыг, в разные стороны, мужики с вилами и косами мчатся, Никола идет, в бороду лыбится. Я кровь с прокушенной губы сплевал, голову опустил, мужики меня обступили, смотрят сурово, а Никола и говорит: «Закричал, значит?» Я молчу, вроде и кричал, и не кричал, сам не пойму... Никола лыбится, говорит: «Ты, Андрюша, по-другому закричал. Марфа ажно кипятком обварилась. Громко гаркнул. Ай, молодец!» Мужики загомонили разом, повеселели... Так у меня это вышло. Марфу Никола натер мазью особой, которую с отцом своим, Ерофеем, по июлям готовил, и прошел ожог ее в тот же день.

Вот так, Борислав. Ты, поди, волков только по телевизору видел, а я их по молодости войско целое изничтожил. После того как я выдержал, Никола мне запретил. «Хватит, – говорит, – зверье почем зря губить. Скажу я слово одно, и кончится ваша вражда. Ты – зверь сам по себе, они сами по себе. Не пересекутся ваши дорожки больше». И правда, как бабки отшептали. Пошаливали они опосля, но редко, лениво.

Слова, Борислав, не помогают быть сильным. Если ты чувствуешь себя слабым – лучше молчи, не трать себя. Научишься молчать – сделаешь первый шаг к Магии Смертной Силы. А что такое Сила, ты знаешь? Сила первого посвящения – это наука уничтожить своего недруга. Этим владеют многие, не только культы и маги, но и вполне

цивилизованные кланы, к одному из которых принадлежишь ты. Сила второго посвящения, которой владеют немногие, – умение использовать достоинства врага в свою пользу, превращать их в недостатки. Сила третьего посвящения, которым владеем мы, Сила Смертная, неотвратимая и неодолимая, – уметь делать людей слабыми, бессильными, податливыми, опустошенными. Для этого не нужны ни ваши мудреные бомбы, ни яды, ни войско. Слушай и молчи, Борислав. Так ты прикоснешься к Силе. Было время, и я сидел так перед Николой и внимал каждому слову. Как сделать медведя послушным, словно дитя, как сделать больно незнакомцу, стоящему за версту от тебя, как обрести Силу неземную, проницательность звериную, нюх волчий, ярость нечеловеческую. Как оставаться нехворым и в младости, и в старости, как голод познать и удерж от всего желанного... Слушай, Борислав, – с ума не сойдешь если, то сильным станешь много более сегодняшнего...

Ты неплох духом, я это чую, хотя супротив меня тысячи таких, как ты, не хватит. Улыбаешься... Не веришь? Ладно. Вы уже другие, брезгливые к голосу старшего, уверовавшие во всезнайство свое. Говорите вы много, а слушать не умеете, впитать влагу ума бескрайнего разучились, словно детьми никогда не были. Когда Никола говорил, вся деревня его слушала, отец родной его слушал, не перебивал, кланялся благодарно. Мне было два годка, когда откровение ему пришло. Голос ему был громогласный и видения. Конец прошлого века был это. Мамка мне много про Николу рассказывала: как он на стаю волчью с голыми руками ходил, как дрался со зверьем; как на кладбище жил, от людей шарахался, голодом мучался, плотскими жаждами; исчезал надолго и возвращался, готовил настои и мази исцеляющие. Потом он нам говорил: «Испытание мне наказано было Великое, нечеловеческое». Все опосля проходили те же муки, что он сдюжил, – все проходили, да не все прошли... Баб наших, деревенских, он одной мерой мерил, мужиков – другою. Мне семнадцать годков стукнуло, когда не голосом я закричал, а Силой своей, и много было еще впереди… Марфа, которую я поминал уже, померла, не сдюжила, похоронили мы ее на кладбище нашем тихонечко. Мужика одного медведь задрал, другой, Федор, в проруби утонул. Федорова баба на сносях была, родила через месяц она двоих мальчиков – да мертвыми, синенькими. Никола сказал, что это хороший знак, ему Откровение было. Баба вслед за детками померла тоже. Схоронили мы их всех рядом, могилка к могилке. В девятнадцатом году, когда уходили мы из деревни нашей навсегда, Никола велел по пригоршне земли с их могилы с собою в дорогу взять. Сильная землица, колдовская...

Следователь: – Стоменов, может оставим...

Стоменов: – Борислав, не называй, голубчик ты мой, меня этак больше. Зовут меня Кривошеев Андрей Николаевич. Вот Андреем Николаевичем и попрошу меня величать. Уговор?...

Следователь: (молча пожимает плечами).

Стоменов: – Значит, уговорились. Ты, Борислав, меня не торопи – я и сам все скажу. Дело ваше все равно темное, никому не ведомое, а что начальство твое мандражирует, так это пустое, Борислав, пока ямку не выроешь – водица не пробьется. Сиди, слушай, на ус

мотай, а тот ученый (кивает головой в сторону стенографиста) – пускай пишет, авось, глядишь, деткам расскажет... Да только нет у тебя деток-то, верно я говорю, сынка? (Повернув голову, обращается к стенографисту). Нету, нету, не зыркай глазенками-то, на бумаги свои лучше зыркай, чтоб справнее было.

И вот какая просьба у меня к тебе, Борислав, будет. Вы мой домишко ладно осмотрели? (Следователь неопределенно кивает головой). Там, на окошке, цветочек стоял, помнишь? Цветочек-то вы загубили, когда землю рыли, искали ваши доказательства, а вот землица осталась, там и стоит в горшочке. Ты мне этой землицы принеси, а опосля поговорим...

Кристо Ракшиев (из дневников)

...Отец Николы поклонялся своему сыну, как святому. Все произнесенные наказы сына исполнял с какой-то одержимой ретивостью. Он был единственный крещеный в этой деревне, носил нательный крест, рассказывал о Христе то малое, что слышал на ярмарках, на которых раньше бывал частенько. Почему-то именно после смерти Марфы единственная ниточка, связывающая Кривошеевку с окружающим миром, оборвалась навсегда. Деревня окончательно замкнулась на себе, погрузилась в мрачную атмосферу Смертной Силы. Той самой Магии, которую проповедовал Никола. Отец его прилюдно сорвал с себя крест, утопил его в реке и покаялся. Плакал страшно, ревел зверем, хотел утопиться сам... Никола остановил его, было откровение, что отец будет ему по правую руку.

Он творил чудеса – зверь бежал к нему сам, он говорил с птицей и рыбой, во дворе бродил волк, который слушался только его. Он лечил любые хвори и раны, но когда Марфа умирала возле ног его – встал и ушел. Когда дранного медведем мужика приволокли в деревню, он не пошевелил и пальцем, хотя тот был еще жив. Больной, больной сукин сын!!! Кривошеев говорил, что деревня словно перестала существовать для внешнего мира, – никогда больше, до самого момента их ухода, не появлялись ни редкие путники, ни беглые изморенные каторжане, никто, никто… Они там все были или Кривошеевы, или Никитовы, вся Кривошеевка – пять домов, чуть более семи десятков человек. Херня какая-то! Мне 43 года, и у меня никогда не было детей, откуда ОН узнал!? Откуда узнал? Сначала жена бесплодная, потом развод, редкие шлюхи, шлюхи, и ничего больше... Смогу ли я сейчас? Не уверен... Да к черту! ОН, ОН!! Кто? Почему? Зачем он эту девчонку? Иногда он поворачивается ко мне, и я вижу его глаза... Паранойя, бред, мания величия – ХА – ХА, у него разумный взгляд, быть может, разумнее, чем у нас... У меня... Психов я на своем веку повидал, я их чую, у них глаза...

Я боюсь. Мне страшно. Стал суеверным, напряженным, подозрительным. Все кажется неспроста. Чееррт!! Надо чего-нибудь попить, снять мандраж...

Магия Смертной Силы. Я полез в литературу и не нашел ничего путнего. Возьмите то, посрите сюда, скажите это – чушь. Все книги говорят о том, как использовать некие магические формулы, все эти заговоры, присушки, свечи, заклинанья, эликсиры... Он же говорит о том, как стать магом. Интересно, смог бы я? Я знаю в совершенстве три языка, имею два высших образования... Я смотрю в зеркало и вижу костлявого урода, провонявшего табачным дымом, с незаживающим красным пятном на переносице от очков, минус семь, гастрит, простатит, импотент... МАГ!

Мне сорок три года, и я убогое создание, под залысинами которого живут черви мозговых извилин. Много червей. Я умный. Я хочу быть, как он. Смотреть таким спокойным взглядом, угадывать судьбы и их содержание, иметь розовый цвет лица и ровные белые

зубы. Не сутулиться и не глотать пилюли от изжоги. «У него абсолютно здоровое сердце», – говорят врачи, а мне страшно, страшно, у таких, как я, бывают ранние инфаркты... Я деликатен на работе и крою всех и все матом в своих писульках... Кого я ненавижу?..

В 1919 году Кривошеевка опустела. Покинули ее все жители без исключения. Сорок девять человек...

Девятый день допроса

Стоменов: – У примитивных народностей смерть никогда не считалась естественным явлением. Они всегда искали причину смерти, причем смерть естественная при этом просто игнорировалась. Быть может, тебя прокляли, или ты прогневал какого-то бога, или убил свою душу на охоте, которая предстала в образе куропатки или зайца. Если взять даже небольшую часть всех поверий, связанных со смертью, вы, вероятнее всего, просто сойдете с ума, пытаясь защититься и оберечься от того, что неизбежно. Смерть Неотвратима, и это одна из причин Силы всего того, что связано со смертью и погибелью. За все надо бороться – за добрый урожай, за благополучные роды, за милость богов, за хорошую погоду, но только смерти не нужны ни ритуалы, ни клятвы, ни вера. Смерть приходит к нам независимо от того, верим мы в нее или не верим, и еще никому из живущих на земле не удалось отвратить этот приход, откреститься от него.

Любая смерть – даже неприметной травинки на поляне – может сделать вас сильнее. Земля с могилы может дать вам еще пятьдесят лет жизни сверх меры, а может уничтожить в считанные минуты. Все зависит от того, умеете ли вы этим пользоваться. Ваш пистолет, Борислав, вы можете направить в лоб нашему трудолюбивому очкарику или к своему собственному виску. Как видите, игрушка одна и та же, а результаты очень разные. Вы не отнеслись к моему пожеланию серьезно и принесли мне другую, ПУСТУЮ, землю (следователь явно вздрагивает), и очень жаль – не ожесточайте сердца старика. Принесите, прошу повторно, я буду вам премного благодарен...

Магия Смерти – вот чему научил нас Никола. Те из нас, что выжили, осваивая эту науку, – очень любят жить, как это ни странно, и живут более чем кто-либо другой. Более не в смысле, что живут триста или пятьсот лет, это все глупости, а в смысле... Да что говорить, гляди на меня. Я близок к восьмидесяти годкам, а здоровей тебя многократно, а ведь тебе только тридцать девять (следователь вздрагивает), последний раз я болел в 1916 году – и никогда больше. У меня здоровые глаза, я хорошо слышу, могу спать с женщиной, если захочу. Мы не участвуем в ваших войнах, не стремимся к власти и наживе, никому не насаждаем наши знания и опыт. Мне совершенно безразлично, слушаешь ты меня или нет, веришь ты мне или нет. Меня мало интересует, какого бога ты почитаешь и поклоняешься. Все боги одинаковы – им нечего дать на земле нашей, вот они и обещают жизнь небесную...

Каждый мой шаг пронизан исключительной ясностью, чистотой и радостью от всего того, что я делаю и чем я живу. Мой мир прозрачен, потому что я им управляю, я его создаю и растворяюсь в нем. Смерть далека от меня, и рядом она окажется только тогда, когда я сочту это нужным...

Следователь (вскакивая): – Стоменов, вы чего несете?! Хватит молоть чушь!! Академик

чертов! От какой чистоты помыслов ты девчонку в кастрюле сварил, святой ты наш?!!

Стоменов (тихо): – Сядь, Борислав. Андрей Николаевич меня зовут, мы же уговорились, да? Хочешь узнать, зачем я это сделал? Узнаешь... Ты сиди да слушай, не перебивай старшого, а я говорить буду. Девку я убил, не отрекаюсь и не каюсь. Зачем убил – скажу, только не поймешь ты... Она – путь-дорожка моя, она меня скоро с собой заберет...

Следователь (стоя, наклоняясь, шепотом): – Никак, старый, руки на себя наложить собрался?

Стоменов: – Дурак. Говорю же, не поймешь, а чего тогда спрашиваешь? Никола сказал: «Готовься, ты уходишь».

Следователь (раздраженно): – Ага, и Никола ваш живехонек?

Стоменов: – А то как же!? Живее всех живых! (улыбается). В Америке вашей, которую вы так люто ненавидите, поживает. (Следователь садится, делает мне знак, мол, продолжай писать). Сколько ему годков-то будет? Сейчас сочтем... Было ему двадцать шесть, когда я народился, получается...

Следователь (перебивая): – Сто пять лет. Вы что, бессмертные, что ли?

Стоменов: – Сказок начитался, Борислав? Бессмертный один лишь Кащей, да и то смертен, стоит лишь до яйца его добраться. Каждому из нас свой срок велен.

Отец Николы в шестьдесят девятом ушел, в Казани. Марфа (не та, которая умерла, другая, сестра отца моего) – в тридцать девятом, в Югославии. Все мы, Борислав, по всему миру разбросаны, все мы смертны, всем нам свой срок отпущен. Только вас смерть сама находит, а нам проводник нужен...

После того как промолчал я сорок дней, Никола сказал: «Не ешь. Сперва – три дня и три ночи не ешь ничего, только пей воду студеную. Луна когда сменится полностью – снова не ешь девять дней и девять ночей. И опосля, когда две луны сменятся – не ешь сорок дней и сорок ночей». Голодовал я... Три дня было ничего, сдюжил, девять дней были самыми трудными, а сорок я перетерпел легко. На сорок первый день он питье мне дал особое – мед, жимолость, шиповник, клюква, лапчатка и еще травки кой-какие, специально зашептанные, мазью натер, специально сделанной из клевера, шалфея и мать-и-мачехи, – и упал я в беспамятстве. Сорок дней голодовал я – и сорок дней снадобья его настаивались. Вот так Никола уму разуму нас учил.

Никола здоровущий был парень. По молодости развлекался на ярмарках – на спор жеребцу хребет с одного удара переламывал. Девок портил, горькую пил. Мамка рассказывала – только я родился, а он в канун декабрьских морозов – хлоп, словно ума лишился. Ходит, бормочет, от людей шарахается, по лесу рыщет неделями, придет – весь в кровище, драный, рваный, мычит нечленораздельно. Как снега весной сошли – повадился на кладбище спать. День в Кривошеевке околачивается, а ночью – шмыг на кладбище. Ерофей, отец его, тогда еще во Христа веровал – уж он крестился, молился истово, да все тщетно. Плюнули – пускай мытарится сам по себе, убогий. И вдруг – как сгинуло. Заговорил Никола, но по-другому, иначе... В поле со всеми стал выходить, работать, с девками не знается, горькую не пьет... Чудачества выкидывать стал. Волка из лесу притащил больного, полумертвого. Выходил. Ходит за ним зверюга, как привязанный, на всех зубы щерит. Ночью Никола из ковша воды отхлебнет – и на пару с волком на

кладбище. Травы разные собирать стал: одни сушит, другие настаивает. Хворь лечил всякую, роды принимал. Потом совсем чудеса стали – идут мужики в лес, на охоту, а зверь сам на них бежит. Собираются бабы в лес по грибы – Никола говорит: «Вон там, в рощице, грибочки поглядите, кажись, созрели». Идут туда бабы – и впрямь, грибные рассады находят необозримые. Ерофей, с радостей таких, опять вовсю креститься начал да поклоны бить Отцу небесному, только Никола его вдруг одернул. Теперь мне ведомо, а тогда никто не уразумел. Опал Ерофей, осунулся враз, почернел лицом... «Пойдешь?» – «Пойду!» И ушли они той ночью втроем на кладбище – Никола, волчара его и Ерофей...

Кладбищу нашему, кривошеевскому, триста лет, не меньше того. Оно и сейчас сохранилось, **чую** я его. Деревня вот не сохранилась, а могилки живут... Вот так, Борислав, Смерть – она поухватистей будет. Помни это. И просьбу мою не забудь, землицы принеси **моей**...

Двенадцатый день допросов (допрашивают Советы, московские)

Стоменов: – Знаешь, как Ольга наша баб неугодных изводила? Сейчас расскажу. В новую луну она собирала немного соломки и всю ночь куклу мастерила из всяких тряпочек. Тут самое главное при мастерстве – вообразить вражину во всех ее особенностях, чтобы духом ее куклу эту пропитать насквозь. Поспит Ольга немного, утром проснется, стол соберет, как обычно, сядет, но не съест ничего, только крошку от краюхи отщипнет. Посидит малость, уберет всю снасть, а затем на кладбище идет. Берет земли от самой старой и древней могилы, где женщина похоронена, и в дом землицу несет. В избе из четырех углов выберет самый темный и посыпет туда земли набранной. На другой день девка наша снова на стол соберет, посидит, кроху хлеба съест – и ничего боле.

Куклу смастеренную в уголок приладит, где земля могильная рассыпана. И вот так до полнолуния Оля на стол налаживает, и велено ей так, что чем ближе к полнолунию, тем богаче стол накрыт должен быть, а скушать можно крошечку от любой еды. И еще Никола строго-настрого запретил: «Скажешь, – говорит, – хоть слово вслух недоброе про неугодницу твою – сама издохнешь. За стол садишься – огляди все внимательно, принюхайся к каждому запаху, крошку свою съешь и на соперницу гляди неотвратимо. Злость в тебе с каждым днем просыпаться будет страшенная, а к полнолунию – испепеляющая, яростливая.

Всю ее отдай неугоднице, что в углу сидит у тебя в избе, – но ни слова вслух не скажи – помрешь». Давал ей Никола травочки специальные, высушенные, чтобы она в полнолуние в определенное время их зажигала. Перед полнолунием шла девка снова на кладбище наше кривошеевское, брала еще земли с могилки, только теперь свежую землю брала... Подсыпала эту землю в тот же угол избяной, а в полнолуние налаживала самый роскошный стол с самыми невозможными яствами, обязательно все свежее и горяченькое. Клала себе на тарелочку кусочек черствого хлебушка, откусывала и, больше ни к чему не притрагиваясь, подле вражины своей в углу садилась, травки Николы зажигала в горшочке – и сидит, не спит, сколько сил есть, пока в изнеможении не свалится...

Следователь (кивая): – Черная месса...

Стоменов: – А это вы, Сергей Дмитрич, как угодно называйте, хрен редьки не слаще.

Знаете, не завидую я бабам тем, которые с Оленькой познакомились. Ладно, если померла просто. А как если нет? Это ж муки нечеловеческие...

Но дальше, Сергей Дмитрич, вы никак не угадаете, чему ее Никола наш науськал. Или скумекаете?

Следователь: – Мм-м...

Стоменов: – «Ты, – говорит Никола, – землицы положи, как обычно, сразу в полную луну, куклу изготовь и ладанку мою зажги. Дальше все само собой исполнится». Вот и вся арифметика.

Следователь: – Андрей Николаевич, растолкуйте непутевому, что за петрушка такая это – с могилами, с землей, с мертвыми... Почему Смертная Сила? Разве сила жизни слабже будет? Неубедительно как-то...

Стоменов: – В Китае одна старуха образовала тайное женское общество, занимающееся околдованием мужчин. Ночью они отправлялись на кладбище, отыскивая могилу молодого человека, оставшегося целомудренным до самой своей смерти. Откопав могилу, женщины извлекали оттуда несколько костей, после чего носили их с собой или прятали в укромном месте. И если кто-то из мужей в чем-то не угодил им, они особо отмечают на кости время рождения его, а саму кость зарывают или в море бросают. И становится с течением времени этот муж сумасшедшим. Или он тяжело заболевает, что ведет за собой неминуемую смерть. У приречников Обских другое поверье было: подложишь в гроб к умершему клок одежды или волос обидчика своего – и умрет он скоро, заберет его покойничек с собой. Торжество в смерти заключено неодолимое, неотвратное. Если ты дом свой покинешь, который сам срубил, поставил, обжил, своим духом пропитал, – пройдет тридцать лет, и не останется в месте том ни крупицы духа твоего. А захоронишь человечка случайного, неведомого – и пятьсот лет пройдет, а земля дух его смертный хранить будет, силу Магу дать сможет... Вот так, Сергей Дмитрич, выходит. Умеючи челобитную смерти бьешь – чудеса творить сможешь, жизнь лучше узнаешь, краше будешь. Неумеючи возьмешься – иль ум потеряешь, иль Смерть примешь, которой невежно кланяться вздумал. Бывает и так – не ведают люди, а преклоняются, и дается им сполна. Приходят другие на то же место, не преклоняются – и звезды содрогаются, видя, как мир их рушится...

Следователь: – Чего ты, Андрей Николаевич, загадками заговорил, не пойму я тебя?..

Стоменов: – Загадки, Сергей Дмитрич, ты в Москве у себя разгадывай. Чаша вами будет горькая испита – заговорите вы плохо о мертвых, а могилы в доме своем оставите... Я об Ульянове вашем говорю да о смертных, в стены замурованных. Случайна сила ваша, потому что Знания не имеете, но и ее потеряете, потому что оплюете могилы, но рядом их оставите. Худо из речки пить, в которой врага своего утопил. Ты думаешь, Сергей Дмитрич, люди в мавзолей этот рвутся, чтобы на Ульянова вашего посмотреть? Медом там, что ли, намазано? Нее-е-т, голубчик, это они Силу почуять приходят! Великая Сила там есть... Мертвое всегда величественно, вспомните пирамиды Египетские, живое – преходяще, скоротечно, случайно. Как вы, как я, как птицы и звери вокруг... А ты попомни – оплюют вашего Ульянова, и придут в ваши дома беды великие. Забыли мудрость народную: «О мертвых или хорошо, или ничего» – так вам кровью сие отхаркнется.

Следователь: – Ты, Андрей Николаич, не чревовещай: девчонку сгубил, а нас тут поучаешь...

Стоменов: – А ты не мешай, не мешай все вместе. Человека извести – дело пустяшное, ненаказуемое, а вот смерть его не уважишь – заплачется слезами горькими и на этом свете, и на том. Пришел немец в дом твой – ты его убил, и лад с ним, но если слова доброго сказать могилке его не сможешь – так и не хорони его рядом с собой, а где-нибудь далеко-далеко, где нога твоя больше не ступит. А то, что лисы по кладбищам шмыгают спокойно, медведи бродят – так не удивляйся, в звере зла нет, они как дети малые... Никола со зверьем, как я с тобой сейчас говорю, говорить мог, но не словом – Силою своей. Той Силою, что я мужиков на подмогу позвал, рта не раскрыв, – и услышали. Запомни, Сергей Дмитрич, отхаркнется. До конца века нынешнего почем зря рвать друг друга будете.

Следователь: – Ладно, ладно, поживем – увидим. Расскажи лучше, Андрей Николаевич, как ты Магом силы своей смертной сделался, а я послушаю.

Стоменов (глухо, опустив голову): – Сон мне был сегодня под утро, Никола был, пост у меня начинается – три дня и три ночи. Сергей Дмитрич, скажи хлопцам своим, чтобы не докучали, – не ем я три дня, уговорились? (Следователь кивает головой). И еще просьба к тебе будет – водицы бы мне в эти дни особой – до льда ее сморозить, а затем оттаять... Этой водичкой я три дня и буду питаться...

Десятый день допроса

Стоменов: – Как я отношусь к женскому полу? Хорошо отношусь, чего еще тут скрывать. А вот как девки меня любят – так это любо-дорого послушать! Нам, Борислав, как заповедано: желанья плотского не чурайся, женской ласки периодически вкушай всласть, а если на какую хранитель особо укажет – семя свое дай ей, чтоб, значит, потомство твое по свету шло. Глянется если баба какая особенно – с ней всю жизнь оставшуюся провесть можешь, но только с условием одним-единственным: не быть в союзе этом деток никогда. Так нам Никола заповедовал: «Семя Кривошеевское в третьем колене тогда только сильным сделается, когда дите, народившееся во втором или в первом, без отца своего будет с рождения своего». От чего так – не знаю я, Борислав, да только семя свое Кривошеевский или Никитовский сеет, но воспитывателем народившегося не становится, равно как и баба, – если в чреве своем от мужика какого-то нужного в чреве своем носит, то и по разрешению благополучному воспитывателем мужика этого делает и больше ребенка этого не видит никогда.

Ну а если баба из наших полюбовника найдет себе на веки вечные, а бабе нашенской такого найти, что тебе затылок почесать, трудов не составляет, она плечом поведет – да и повалится полюбовник этот в ноги ей... Так вот, и ей тогда деток не иметь никогда будет. Так Олюшка наша поживает – та, которую поминал я уже, как баб из других деревень изводила она... Живет с миленком своим в краях швейцарских, домик у них там ладный, живут вдвоем, мужик ентот надышаться на нее не может. Она его подмолодила Силою Магии втайне, хвори многие у него извела, ни слова об этом ему не сказав. Любит его она, сильно любит, Борислав... И знаешь, скажу я тебе что? Смерть-то ей раньше принять придется, да только и он за ней поутру на день следующий помрет. Вот и выходит сказочно – и жили долго и счастливо, и умерли в один день... И в царстве ином любить друг дружку будут вечность, так уж она для себя и для него выбор сделала...

У меня, Борислав, девять деток по миру этому ходят, восемь сынков и одна девка. Их я не видел никогда, но коли чего знать о них захочу – хранители всегда скажут все в подробностях. У Николы четыре сыночка будет – трое по Руси шастают, а один, значит, гражданином Америки является, с именем нерусским. Отчего так по-разному выходит – так это не нам решать, а хранителям нашим, а по страстям телесным – тут уж мы сами распорядителями будем... Слышал, Борислав, сказочку, где шапка-невидимка была? Так вот, у меня и у других, Кривошеевских, как будто эта шапка-невидимка имеется. Ты не хмылься, а до конца дослушай! (вероятно, следователь сгримасничал, я этого не заметил. – Дополнение К. Ракшиева). Мы ведь, Борислав, до людского внимания не особо охочие будем. Возьми соседев моих – жили рядом, а ничего они сказать-то обо мне не сказали, верно? Видеть они меня видят, да не замечают совсем. Мимо меня их взгляд проходит, словно интересу к персоне моей нет у них ни на грош, словно и нет меня там, где я стою... Вот это и есть шапка-невидимка, про которую объясняю я тебе. Никакая, конечно, не шапка это, а состояние духа особое, колдовское, магическое – чтоб, значит, от любопытства и любознательности человечьей хорониться, для глазу людского неприметным делаться. Во как, воодушевился ты, смотрю, никак пользу для наук шпиенских ваших почуял, ась? Только не о шапке этой речь я веду, а о том, что если время утех любовных настает. Если девка какая-нибудь интересна мне стала, то шапочку снять эту надобно, потому как не имеет к тебе интереса ни люд, ни зверь, если угодно, пока в настрое этом находишься. А как снял – тут и девку охомутал крепко-накрепко. По законам библейским выходит, что грехом великим прелюбодеяние является, а если по-нашему, то благость и Сила в этом выходят немалые, только правильно взять уметь это надобно. Никола так науку эту давал: коли не знаешь утех любовных, то познать должен непременно – с этого путь Мага начинается, Борислав, хотя и странным тебе это казаться может. Если баба целомудрие свое утеряла, а удовольствиев нету, то сладить так все надобно, чтобы пришло к ней это. Никола для этого и мази особые делал, и настои травные, и смеси трав сушеных, для костров предназначенных.

Мужика одним способом правил, если никак не способен был он по части этой выполнить, бессилием страдал, бабу холодную – другим. Непроста его наука была, Борислав, ой непроста. Велено было умение иметь самое совершенное – если для бабы, то, семя получив, ход ему давать или не давать на усмотрение свое. «Опосля, – говорит Никола, – хранители с вами будут и доподлинно скажут, надобно ли семени попавшему ход дать, аль не стоит, а пока сами

кумекайте, нутро свое слушать умейте»... Если мужику науку давал, то семя брошенное учил по воле своей плодным или бесплодным сделать, а еще чтоб Сила была у него долгою и приходила повторно в самом быстром времени. Как учил, опосля расскажу, если охота будет. Так вот, когда баба охочею станет надежно, а мужик какой от слабостев своих избавление возьмет – так зачинать надобно потеху свальную в месяц два раза – на луну новую и на луну полную особенно. Деток, малых совсем, травкой опаивали сонной, да еще двух старух и мужика одного, хворого безнадежно, бессильного, а остальные все к полночи на поляне лесной располагалися. Никола сосуд с собой брал, где настой его, для дел этих надобный, был да черпак – чтоб пить, значит, а Ерофей, отец его, котомку захватывал, где травы сушеные для костра были. Питье свое Болтун-водой называл Никола, а травок этих смесь Шалунок кликалась. По приходу Никола костер большой раскладывал, а костер половинно собирался из свежих веток лиственных и хвойных и из

суковин старых да высохших. Ерофей Болтун -водой всех опаивал, да и сам попивал изрядно. Разжигал Никола костер великий, а потом сидел подле него, да Шалунка время от времени подбрасывал, а в потехе нашенской участия не имел, потому как охрану строго держал от путника случайного да от зверья нежданного... (следователь ерзает на стуле).

А уж мы, Болтун-воды опившись, до утра тешились... Там, Борислав, сестру от брата никто не различал, равно как и дочь от отца своего… Все смешивались...

Следователь (останавливая жестом): – Говоришь складно, только больно уж скучным рассказ твой выглядит. Не воодушевляли тебя ночи эти, как я погляжу.

Стоменов (вздыхая): – Эх, Борислав, Борислав... До чего вы народ мелкий, как я погляжу. Тебе вот начальство твое оборот сделало пустяшный, а ты уж и за сердце хвататься, а по роду Кривошеевских что я, что другой кто-то сердчишко твое вырвет рукой голою – и свое лишний раз не дрогнется. Жизнь у нас степенная, равновесная: одно время приходит – и страстности предаешься великой, другое время настает – и удерж совершаешь, Силу большую обретаешь, а третье приходит – помощь кому-то делаешь, аль, напротив, недруга жизни лишаешь... Я, Борислав, удовольствие имел тогда, когда в потехах этих участвовал, а не теперь, когда про них сказываю, потому как страсть плотскую только плоть одна и содержит, а если ум плоть удовлетворить умеет – так и мертвою для страстности та плоть будет...

Кристо Ракшиев (записи в дневниках)

... Я попробовал обобщить его рассказы, но не уверен – получилось ли у меня?

Поговорить бы с НИМ! Но мне категорически запрещено инструкцией пытаться разговаривать с подследственными. Кривошеев сидит в одиночной камере при нашей больнице, начальство перестраховывается, даже больничную одиночку не дают. Кривошеев ведет себя спокойно, ему не показано никаких лекарств, колоть будут только в случае острой необходимости – неожиданный психоз, острые состояния, приступы и т. п. В соседней каморке, рядом со следственным кабинетом, куда Кривошеева приводят на допрос, постоянно дежурит бригада со всем необходимым. Когда *метелкам* (по всей видимости, подразумеваются или следователи, или оперативно-розыскные мероприятия. – Прим. переводчика) все это порядком поднадоест, следственную часть закроют, Советы уедут к себе в Москву, а Кривошеева нашпигуют спецсредствами. Если сейчас он болен, то, когда «выздоровеет», человеческую речь понимать не будет. Это когда-то случится, а пока он говорит, его слушают, а я пишу. По воскресеньям, если нет никакой чрезвычайщины, мои полномочия выполняет дежурный референт. Я пропустил уже два допроса – один шестичасовой, наш, другой четырехчасовой, когда допрашивали русские. Поинтересоваться происходящим опасно. Черт, черт подери их всех!!

Русские ведут допрос более лояльно. Без драм, без истерик, не вступая в полемику. Возможно, они знают больше, чем мы... Может, и правда, что была такая Кривошеевка, и русские ее нашли. Нашли, а что толку? В деревне ли дело? Нет, тут другое что-то, непонятное для нас...

МАГИЯ СМЕРТНОЙ СИЛЫ, обряды посвящения

Всякому юноше или мужику взрослому бабу познать хоть однажды. Это одно из непременных условий. Слабых по этой части было мало, Никола их лечил особо, настойчиво. Нет если мужской силы – не годишься, страстности надобной не будет. Бабе –

такое же правило, мужика познать хотя бы единожды.

По словам Кривошеева, с этого берет начало обрядовая часть Смертной Магии.

Сексуальные инициации при этом имеют ярко выраженную оккультную, ритуальную окраску, которая сначала нарастает, но в общем многолетнем процессе магической инициации постепенно сходит на нет... Взаимоотношения полов, в конечном итоге, теряют всякое магическое значение, становятся обыденными: продолжение рода, естественная физиологическая потребность и удовольствие. А вот магическим становится процесс полового воздержания: три дня, девять дней, тринадцать дней, затем сорок дней, далее – триста девяносто дней непрерывного полового поста. Кривошеев говорит, что, если хочешь немного Силы, – удерж в девять дней достаточен (я так понимаю, в контексте всей инициации, а не сам по себе), если Сильным быть хочешь – сорок дней удерж должен быть, и триста девяносто дней сдюжишь – Магом Силы Смертной стать сможешь. Да, вот еще что – они же настой пили, специально сделанный, искушающий: для баб один, для мужиков другой – я так понимаю, афродизиаковое средство. При мне Кривошеев способ приготовления этого настоя не рассказывал: возможно, говорилось это в одно

из воскресений, когда я выходной. У него несистемный ум, он рассказывает то одно, то другое, непоследователен, как ребенок, который на одном месте усидеть не может...

Попробую свести все ИМ сказанное воедино. Должно, должно получиться!..

P.S. ...Перечитал – и выругался: Папюса из меня явно не выйдет. Ай, и черт с ним...

Двенадцатый день допроса

Стоменов: – После того как молчал я сорок дней и сорок ночей, словно немой, Никола собрал меня и еще семерых мужиков, которые отмолчались уже до меня, чтобы научить нас с ТЕМ светом разговаривать. Это вы сегодня только кресты носите да поклоны бьете, а веры в вас никакой, а мы верили, верили беззаветно каждому вздоху его. Никола велит, чтобы мы с царством мертвых заговорили, угодили путникам встретившимся и нашли себе девять особых душ, которые опосля всю нашу жизнь земную, до самой смерти, станут хранителями и назидателями судеб наших. «Царство мертвых необозримое, ста жизней не хватит, чтобы обойти его, – говорит Никола, – а найти вам там велено тех, чье имя таким же будет, как и ваше. Тебе, Андрюша, как зеленому самому, поясняю – девять душ Андреевых найти ты должен. И у каждого из девятерых смерть особая приключилась...»

Душа первая принадлежала человеку, который случайную гибель принял, нежданную. Один может на льду оступиться, упасть, и его в промоину под лед унесет, другой – в трех соснах заблудился, да так там и остался навечно, третий поперхнулся случайно... Смертей много разных, и найти из таких первую душу нужно. Она как оберег будет – от всяких случайностей и неожиданностей. Будет рядом – и не оступишься, не поперхнешься, не заблудишься, охрана будет тебе надежная днем и ночью.

Тело души второй погублено было пожаром, и душа эта хранить тебя будет от огня и

молнии небесной. Можно взять того в хранители, кто в огонь кинулся добро свое да злато спасать да и сгинул, потому как справный охранник он будет, всевидящий опасности огненные.

Третья душа человеку принадлежала, что помер от хворей и болезней, беречь тебя будет от недомоганий и нездоровья. Тут наиболее желателен житель царства мертвого, кто с особой досадой от хвори смерть принял, шибко умирать не хотел, но умер все же...

У человека, чья четвертая душа нам надобна, жизнь силою отнята была: или казнен он был, иль повешен, а может, убили его воры или конокрады. Хранит меня душа эта от приговора смертного, от убийц и от замыслов в мою сторону смертных.

Пятая душа – душа утопленника, кто утонул не по желанию своему, а по прихоти моря или стихии. Ладнее всего тот потонувший выходит, кто смерть от воды принял тихим попутчиком при переплыве в земли другие.

Шестая душа тому Андрею принадлежала, который руки на себя наложил. От любви ли несбыточной, от мук каких-то душевных, от отчаяния или страха огромного, разные самоубивцы бывают – и лучше всего здесь будет, если смерть найдешь случайную, пустяковую, глупостную. Чем больше в мире ином человек досаду терпит, что совершил себя убиение, тем ладнее. Будет самым надежным назидателем и сохранителем.

Следующий человек, с чьей душой я в договор вступаю, убит был в войнах больших или малых. Здесь лучше большую войну взять, жестокую, надежней хранитель будет.

Восьмая душа – зверем и лесом хозяин ее погублен был. С этой душой знаешься – ни хищник не тронет, ни гриб – ягода не отравят, а еще узнаешь свойства живого мира тайные – как малиной спелой сгубить можно или как травой ядовитой от недуга вылечить. Лучшим самым здесь будет, если травкой случайной иль ягодой какой умертвился Андрюша мой.

Девятый Андрей колдуном был умерщвлен или магом неведомым – всяким, кто гибели его добился, особые знания используя. Это душа нечастая, долго искал я ее... Знаний истинных немного, много разговоров о всяких якобы знаниях... Нашел я такого Андрюшеньку, Яшка Салаутин его изничтожил, был такой колдун в семнадцатом веке...

Вот так выходит, Сергей Дмитрич, девять покойничков меня охраняют...

Следователь: – Как же ты, Андрей Николаевич, – с такой-то охраной – и здесь очутился?

Стоменов: – А мне здесь опасности нет никакой. Коли была бы, не сидеть нам здесь никогда, мне Андрюша-висельник наперед все рассказал за целую луну.

А ты иронизируешь, старику не веришь... Хошь – верь, хошь – нет, дело твое, а я говорю, что известно мне. Умирать мне своею смертью, другой не будет.

Следователь (официальным тоном): – Нам вместе с материалами дела был предоставлен рапорт, где высказывается мнение, что вы, Андрей Николаевич, подумываете о самоубийстве. Вы не объясните такую точку зрения наших сотрудников, мнение которых мы, безусловно, очень ценим... Следователю показалось...

Стоменов (перебивая, твердо): – Ему показалось... И чего я тебе, Дмитрич, про

сохранителей толкую, не пойму. Не

слышишь ты меня, что ли?

Следователь: –Я просто спросил.

Стоменов: – Ладно, Сергей Дмитрич, пустое это. Слушай еще историю, которую Никола мне сказывал после войны. Был один такой парень – все его Леха звали, ни фамилии, ни отчества, а так – Леха и Леха, и все тут. Леха в сорок третьем с партизанским отрядом в лесах Белорусских шмыгали, яко волки, немца били нещадно. Как-то сработала недалеко их ловушка, что они немцам устраивали в изобилии, двое отсталых на мине подорвались. Партизаны сбрелись, а немчуры оба живые, руки там оторвало, ноги, но дышут оба, хрипят и в сознании. Леха, недолго думая, подошел да и расколол им головки ихние прикладом. Ну, поплевали все, как делается обычно, когда собаку бешену прибьют, да и поворотились, а Леха говорит, что, мол, хоронить их надо. Брось, говорят мужики Лехе, собакам смерть собачья, а Леха ни в какую – схороню, и все тут... Матюгнулись мужики отрядные, да и в леса пошли, Леху с мертвыми оставили. Схоронил их Леха так, как ему батька еще в детстве покойничков провожать в мир иной заповедовал. Ночь отночевал, а поутру своих нагонять пошел. По следу идет ихнему – так и вышел на хутор, дотла сожженный. Бабу только одну нашел, сидит, венки плетет цветочные. Повела его баба к окраине, кажет на землю сырую, гусеницами танковыми изъезженную, – тут, говорит, голубчики твои, все твое войско. Повязали их ночью, сторожа закололи, а остальных поутру в землю-то живьем – и танком укатали... Девять партизан и четыре сельчанина оставшихся. «Чего ж ты, дура, венки плетешь? – спрашивает Леха, – давай крест им сладим». – «Ты, сынок, – баба говорит, – хошь – крест ставь, хошь – образ, а я всю ночь в лесной воронке сидела, Господа молила, утром глазами своими все это глядела – и как молила, как молила... Ставь, коли хошь, а я веночки плесть буду, ибо нет со мной боженьки...» Вот так, Сергей Дмитрич, Леха жив остался, от смерти страшной ушел, потому как жизнь отбирать не гнушался, но к мертвому уважение имел. По сей день этот Леха здравствует...

Мне восемь аль девять лет было, когда мы с дворовыми на кладбище наше пошли. Ну, дело известное – залезешь на печь и давай истории страшные калякать: про мертвецов, про леших, про домовых и другую нечисть всякую. Каждый рассказчик вовсю старается, чтоб страху побольше нагнать. А опосля – давай друг дружку подзадоривать: айда, мол, на кладбище наше – сдюжим или не сдюжим, и про Николу больно охота узнать, чего он там с волчарой своим делает. Шасть туда – трясемся, девки две маленькие, Никитовские, повизгивают от страху, боятся. Темень страшенная, луна полная, лес шуршит, тени какие-то, звуки разные. Вдруг волк из леса – прыг к нам, встал и щерится, а за ним Никола выходит. Хвать меня за отворот, как самого старшого, к Кривошеевке повернул, толкнул легонько – идите, мол... Много позже, когда голодовал я первые три дня и три ночи, я спросил у Николы, худо бы было, если попали бы мы тогда на кладбище Кривошеевское? Он плечами пожал, говорит равнодушно: «Земля кладбищенская Силу вам дать может, а вы свою, ничтожную, искать пришли, страх свой одолевать. Худа в этом нет, да только и проку никакого»...

Чтобы Силу обрести – надобно удерж всякий познать. Но удерж особенный, магический, наставниками смертными заповеданный. От желаний плотских, от потребностей чрева

ненасытного, от слова пустого, от ока бездельного. Будет прок, если жажду свою силой своею сделаешь, а как сделать – никем не сказано, одному лишь Николе ведомо. Сделаешь – царем незримым сделаешься, Силу обретешь сказочную, моря и земли далекие преодолевающую. Но коли не сделаешь, а только сдюжишь, перетерпишь – не будет от этого толку никакого, окромя того, что трудности лихие лучше других переживешь, если придут они в дом твой… А еще – помереть возможно от слабости или погибнуть, когда испытание тебе дается.

Удерж от желаний плотских трудно мне давался. Утром из ковша отопьешь настоя, что Никола настоял и пить по утрам велел, – и в поле, сеяли мы тогда. Работу тяжелую Никола запретил мне. Хожу, семя сею, а самого то в жар, то в холод бросает, тело истома сладостная заволакивает, голова кружится… То ретивость чую одолевающую – кажется: схвачу, сволоку в лес, оприходую – раз, другой, третий, а там будь что будет. То ярость меня душит нечеловечья, ненависть страшная, испепеляющая. То страх нападет, то видения какие-то – аль морды привидятся кореженные, аль бабы какие-то, ненашенские, извиваются, телом голым бахвалятся, с собой зовут… Как сорок дней вышли, сказал мне Никола одно только: «Добре», – и сгинуло все сразу, упал я на землю в беспамятстве и две луны проспал непробудно.

Три дня был удерж, потом – девять дней и девять ночей, потом – тринадцать и сорок. И только в 1944 – 1945 годах здесь, в Софии, Силу принял я большую, триста девяносто дней и ночей плотской жаждой испытуемый. А тогда, после сорока, повел меня Никола в лес с раннего утра июльского. Два дня и ночь еще он вел меня неведомо куда – и остановился внезапно, словно сигнал ему был какой. «Будет тебе, Андрюша, суровое испытание – учти, помереть можешь, сгинуть, волками быть съеденным, медведем подранный. Знаю это, поэтому не неволю – если удумаешь – хорошо, не удумаешь – воля твоя, только отрекусь я от тебя опосля этого». Согласился я, не раздумывая. Достал он тогда из котомки своей коробочку берестяную, дал мне. «Средство, – говорит, – там особое, для тебя изготовленное. Я сейчас уйду, и как только скроюсь за деревьями – ты глаза покрепше закрой и вотри того, что я дал тебе, бровей чуть пониже, затем ляг – и на земле лежи, пока сверчок под ухом не засвербит. Тогда встанешь – и возвращайся домой».

Сделал я все, как он велел, в точности. Сверчок запел – поднимаюсь я, а в глазах темно. Не вижу ничего. Слеп стал. Слепит, выходит, Сергей Дмитрич, эта мазь Николова, уразумел? Прикинул я про себя – верст эдак сто мы с Николой отмахали, не меньше... Страх в меня вошел нечеловеческий, скрутило всего, к земле потянуло. Лег я на землицу, дрожу листом осиновым, руки-ноги под себя поджал... Слышу, сверчок опять запел, схлынуло с меня, тело расслабилось. Лежу, сверчка слушаю, звуки другие, шорохи, запахи чую. Слышу, как ветки деревьев качаются, листья шуршат, стуки какие-то, скрипы, птицы щебечут. Пополз потихоньку, знаки на деревьях поискать. Семнадцать дней я плутал, по-зверьему шел, на четырех, ягоды ел, траву, грибы некоторые. Зверя чуять стал, различать – зайцы, секачи, лоси, с медвежонком малым нос к носу стоял, не знаю – то ли прибили мамку его, то ли рядом где-то была, но не пошла… Свезло мне, в общем, Сергей Дмитрич. Волки не встретились, секач не пропорол, два последних дня ногами шел – чуять сначала стал, словно видеть, а опосля и видеть вовсе взором особым, внутренним. Вернулся в Кривошеевку, значит. Никола сказал: «Слеп не будешь, но обожди, на новую луну поправлю, не раньше»... Время пришло – в ночь прыснул он мне в лицо чем-то,

вонюче – спасу нет, спать наказал. Но прозрел я тут же, ночь в глаза брызнула. Это, Дмитрич, пока не испытал – не поймешь, когда ночь ярче дня ясного кажется. Сдюжил я – а вот двое не сдюжили, хотя старше меня были и опытнее. Один сгинул навечно, другого медведь подрал насмерть. Вот это и называется, Сергей Дмитрич, удерж от ока бездельного. Глаз-то у нас всевидящим себя мнит, всеведающим, всезнающим, но закрыть его стоит – и беспомощен ты, словно болезнь страшная тебя одолела. Пуст взор у людей нынешних, как и речи пусты ихние, но обретешь взор внутренний и мысль громогласную – и пустое пустым перестанет быть. Вот что такое Магия Смертная, Сергей Дмитрич... Око твое, врага почуявшее, когда он в тысяче верст от тебя находится, слово твое сказанное, но вслух не промолвленное, жальче стрелы разящее, поступь твоя, силу у сильного отнимающая! Торжество Убиения недругов, но почитание Смерти их и содружество с душами ихними – вот что такое Магия Силы Смертной...

Кристо Ракшиев (рассказывает)

Понятий добра и зла у них не существовало. Когда речь заходила об убийстве, о том Зле, которое он совершил, – Кривошеев не понимал всего этого с какой-то наивной, умиротворенной непосредственностью. Он часто говорил: «враг», «недруг», «вражина», «неугодный», «неприятель» – но эти понятия были достаточно конкретны и не формировали собой категорию. Когда Стефан (первый следователь, который допрашивал Кривошеева), да, кстати, на седьмой день он не вышел на службу, позвонил, сослался на недомогание… Через сутки его поместили в наш же дурдом на почве какого-то припадка – насколько мне известно, он до сих пор там, совершеннейший овощ (психиатрический жаргон, полная неспособность больного совершать какие-то осознанные действия. – Прим. переводчика), так вот... Мм-м, да! Стефан ринулся на Кривошеева, как бык на красную тряпку, обличал его во Зле и злодействе, но тот только щурился да плечами пожимал. Я происходящее понимал плохо, стенографировал почти машинально, в голову лезла чертовщина всякая… Стефан нервничал, а Кривошеев сидел, как истукан, – спокойно, величаво, отвечал размеренно. На попытки вывернуть произошедшее наизнанку – мол, зло вокруг вас, а вы добро несете, пусть и жестокое, но добро – отреагировал еще более равнодушно. «Я, – говорит, – понять не могу, чего ты мне тут лопочешь, а коли грамотный такой, так и лопочи сам с собой, без меня»... Стефана одернули, говорят, не суетись, не дави, может, пердун этот старый и сам колонется. Пятый день допроса я пропустил, о чем они говорили – не знаю... На шестой слушаю, понять ничего не могу, о каких-то врагах, о силе, кладбищах, ненависти. Стефан бледный, дергается, меня непрерывно останавливает, хотя, по инструкции, запрещено.

Но он мой непосредственный начальник, приказ есть приказ, если что не так – пиши рапорт вышестоящему. На седьмой день Борислав эстафету принял, на одиннадцатый – русским ее передал. Пишу, пишу... Тошно мне, Вит, сил моих нет никаких, как тошно...

Шестой день допроса

Стоменов: – В природе не существует нравственных законов. Я все детство провел рядом с землей, травами, лугами, рекой, зверями дикими – и что-то о таких законах не слыхивал. Если ты в этом дока – так вразуми старика, а то я томлюсь, тебя не понимаючи. Столкнулся ты с неприятелем в чистом поле – он себе кумекает, что ты злой человек, а ты – что он зло для тебя неперевариемое, и кто ж прав-то из вас, мил человек? Торжество жизни своей подле смерти чужой лучше всех почуешь, вот так-то, родимый. Без нужды букашков людских не тронь, а как есть нужда, так и мертви его, не жалеючи. Ты, Стефан, сам мысли смертные вынашиваешь, только хилый ты больно – и духом, и телом. Одна

отрада, на пистоль свой надеешься – аль застрелю, ай застрелюсь, так ведь, милок? Так... Чего замандражировал-то? А ты, очкатый, не пиши, вишь – не хотит человечишко, чтобы ты это на бумаге своей калякал. Верно я говорю, Стефан? (следователь дергает плечом, запись продолжается). Я тебя, букашонку, насквозь гляжу, все про тебя знаю. И не бахвальства ради говорю тебе все это (сигнал прекратить запись), а только ведаю – надо говорить, и говорю тебе. Струхнул, не пошел на могилку? Да и шут с тобой. Ну, курлыкай дале про зло свое, а я послухаю.

Следователь (сигнал продолжить запись): – Объясните, почему вы убили эту девочку?

Стоменов (равнодушно): – Хошь расскажу, как я ее убил? Послухай, Стефан, послухай! Взял я ее в полночь за обе ручонки, сжал крепко-крепко, она на меня глазищами своими глядит, не пикнет – это я ей СЛОВО шепнул заговорное, чтоб нема была. Левой рукой ручонки ее держу, а правой горлушко ее охватываю и сдавливаю, медленно-медленно, и в глазенки ей смотрю пристально, взглядом особым. Как только задохлась она, положил я ее на пол и танец исполнил специальный, колдовской, – это, Стефан батькович, для того я сделал, чтобы обряд ее схоронный иным сделать... Ай, не понять тебе! Танцу этому Никола меня обучил, когда мы по украинам в двадцать первом шмыгали, особенный танец это, Силу сберегающий, а еще для того он надобен, чтоб хранители твои от тебя не отреклись. Как с хранителями своими уладился – одежу всю с девки снял и в ванну ее, чтобы кровь-то по полу не разливать. Отчикал у нее головку, кровь спустил, обмыл водицей, ну а потом, сам понимаешь, покромсал ее всю, чтоб уварить можно было... Значит... Эй, сынку, чего пот-то льешь, остынь!.. Очки, очки, плесни водицы Стефану, а то худо ему. Слаб ты, ой слаб, милок, ни на что не годен, зря я только воду в ступе толок. Ну, лучше? Лучше? Остынь! Все, хватит на сегодня, будя!

Кристо Ракшиев (дневники)

В столовой подсел к Фрейду. Фрейд – прозвище одного из наших психиатров, он научный сотрудник, специализируется в основном на психодиагностике. Фрейд апатично ковыряет салат, на столе стоит начатая бутылка пива. Им можно, в отличие от нас.

– Чего там старый пердун? – столь же апатично, без интереса спрашивает он у меня. Стоменова все почему-то называли исключительно так. Я пожимаю плечами...

– Одно да потому – Никола велел, Никола сказал, Никола научил. То три дня не жрет ничего, то до бабы сорок дней не притрагивается…

– Ясно, – скучает Фрейд.

– А что ясно-то?

– Старо как мир... Во многих оккультных школах ученикам советуют хранить целомудрие, чтобы не тратить попусту свою энергию, – Фрейд вздыхает, опять берется за пиво.

– А почему три, а не семь и не одиннадцать? Почему девять? Почему сорок?

Фрейд смотрит на меня с секундным любопытством. Потом этот интерес возвращается к

пиву.

– Три, девять и сорок – это поминальные христианские каноны.

– А тринадцать?

Фрейд рассматривает содержимое бутылки, словно прикидывая, хватит ему этого или нет.

– У древних евреев число тринадцать и слово «смерть» писались одним знаком.

Я понимающе киваю головой.

– Фрейд, слушай...

Он любит свое прозвище. Наверное, это ему очень льстит.

– Фрейд, а правда, что когда Сталина из мавзолея выкинули, то золотые пуговицы на кителе поменяли на латунные?

– Есть такое дело, – изрекает он.

Я вижу себя со стороны. Меня бьет озноб. Мне двенадцать лет, я стою у могилы своей мачехи и – плюю, плюю, плюю в ее камень не в силах остановиться. Я пинаю сухие комья земли, и они рассыпаются в пыльные брызги...

Фрейд ушел. Толстая баба за стойкой размазывает разлитый кетчуп... Меня тошнит. Мне страшно. Шестнадцатый день допроса...

Шестнадцатый день допроса (Советы)

Стоменов: – Когда убиваешь человека, Сергей Дмитрич, правильнее всего будет похоронить его по-особенному. Когда человек простой, случайно или намеренно, другого человечка загубил – он его прячет, и чаще всего, как вы и без меня прекрасно знаете, – земле его предает. Схоронить так, чтобы ни одна душа живая не узнала, – смотрите, как интересно, Сергей Дмитриевич: вроде бы и спрятал, и похоронил одновременно. Только вот какая оказия выходит – кто-то содеет, да и ума лишится от страха или там от ожидания кары какой-то всемогущей, а кто-то ненависть лютую к покойничку продолжает иметь. Но учил нас Никола: если убить кого хочешь – без лютости душевной делай это, а к помершему тем более злобы не храни. Могилки почитай, в них Сила для нас и хранителям нашим отрада будет. А коли на тот свет спровадил, а схоронить возможности не имеешь – хранителям милость сделай, а милость эта у нас, Смертной Силы Магов, выражается, Сергей Дмитрич, в танце нашем особенном...

Расскажу я тебе баечку одну, а ты сам прикидывай, сказка это али быль. В двадцать втором году, когда я с Николой и Игнатием по Украине бродили, подошел к Михаилу Ивановичу Калинину старичок один седенький, метр с кепкой, по имени Василий. И говорит ему: «Ты, Михайло Иваныч, меня послушай, потому как этот разговор тебе потом сгодится, жизню тебе поберегет. А сказать я тебе хочу вот что: скоро помрет Ленин ваш, Ульянов. Ты не дрыгайся, Михайло, а слухай спокойно. Так вот, схороньте его особенно, как управителей многих древних хоронили, земле его не предавайте, а сладьте избу ему почетную – и Силу получите: кровавую силу, но великую. А для тебя говорю особенно, Михайло, потому что укроет тебя это от смерти случайной». Сказал это Василий Калинину, да и след его простыл. И Михаил Иванович, видимо, не забыл об этой встрече.

Ведь неспроста же, Сергей Дмитрич, политбюро еще осенью двадцать третьего обсуждало вопрос о будущем захоронении Ленина. А кто предложил Ульянова на особый манер захоронить? Да Михайло Иванович, кто же еще!.. Он первый эту мысль – НАШУ МЫСЛЬ – высказал,

а Иосиф Виссарионович поддержал ее горячо. И заметь, Дмитрич, товарищи Троцкий, Каменев и Бухарин были против МЫСЛИ НАШЕЙ, считали, что Ленина нужно хоронить по русскому обряду, земле предать... Ну, а теперь кумекай дальше: кто долгожителем партейным сделался – Калинин или Бухарин, ась? (следователь улыбается). Вижу, постигаешь ты меня, Сергей Дмитрич, и это ладно. Слухай еще историю...

В 1973 году один человечишко недалекий приноровил на себя бомбу самодельную, чтобы Ильича, значит, взорвать (следователь кивает). Вышла, однако, оказия в замысле его... Человечишко-то сгинул, а телу Ильичову хоть бы хны. Ни повреждения, ни царапинки, чудеса – да и только. Вот так-то, ребятушки, в смерти Сила великая имеется, только знать о ней надобно – и не сладят с тобой ни умысел, ни случай…

Знаешь, Сергей Дмитриевич, как русский люд говорил раньше: «Покойника не поминайте лихом». Теперь говорят иначе: «Не поминайте лихом», по сути – о себе как о покойнике просят. И ничего худого в этом нет, смертный час не приближается. Уважь смерть чужую – защищенней будешь на свете этом, почитай Мертвых – Сила к тебе придет, могущество великое... Не отнимай у мертвого того, что положено ему, никогда не мути мир иной, мертвый мир, кровью и жаждою зальют они землю нашу. Потеряли вы в Сталина веру – и выкинули его из пристанища его. Крадучись делали, суда живых людишек боялись – а надо б мертвых страшиться… Пуговицы золотые с кителя срезали, на простые блескучие поменяли – зачем, Сергей Дмитрич? Никола нам всегда говорил: «Положена с покойничком рубаха добрая – и пускай навечно с ним останется, а положены злата и каменья разные – тем паче с ним всегда должны быть».

Следователь: – Скажи, Андрей Николаевич, – вот могилами ты пугать горазд, жизни человека лишить можешь – знаю, верю, а вот другое мне интересно: польза есть от тебя и магии твоей людям другим, во сто крат тебя более духом слабых, силы магической не имеющих, а?

Стоменов: – Ишь, заговорил как... Никак вид на меня имеешь? Умыслы твои чую, только, Дмитрич, ты меня сейчас не искушай, так как не время еще. Никола нас как поучал – человечка другого Человеком сделать, Силу ему дать, от хвори избавить нехитра наука, много мастеров найдется, а вот Силу его отнять, жизни лишить, своей жизни торжество предоставить – трудна наука сия, опасна, не каждый ее одолеет. Смогешь сгубить – смогешь и спасти, коли нужда такая будет. Со смертью сдружишься – жизнь посеять сможешь. По деревням проедь, Дмитрич, много старух ты найдешь, которые кровь заговорить смогут, чтобы течь перестала, да не найдешь таких, что слово шепнут – и кровью изойдешь ты. Вон видишь писаку нашего – он на головку слабоват будет, я лишь мизинцем пошевелю, а кровь отовсюду пойдет у него – чрез нос, глаз, ухо и рот... Не-е, ты, сынок, успокойся, не вздрагивай, это я для образности сказал, в смерти твоей нет мне проку. Но на головку слаб он, Сергей Дмитрич. Вот таков ответ тебе будет. И говорю я тебе правду истинную, потому как врать мне без надобности…

Вот какая интересная вещь получается: есть закон такой магический, который ведает, что многие или все предметы, находившиеся в контакте, продолжают взаимодействовать после разделения. Закон этот славу дурную имеет, так как пользуются им исключительно для того, чтобы человека портить или здоровья его лишить, а то и жизни. Почему – неведомо мне, Сергей Дмитриевич, посему как наша правда будет – если вещица с человеком соприкоснулась, то, вещицу эту используя особенно, можно не только болезнь ему причинить, но и от хвори поправить; можно не только жизнь забрать, но и сохранять ее надежно, как оберег иногда сильный хранит. Никола нам глаза раскрывал на все на свете, слепы мы были, как котята народившиеся... Вишь, Сергей Дмитрич, я все еще на вопрос твой ответ даю. Утерял ты заколку свою галстучную – я, ее пользуя, силу имею кровь твою спортить необратимо иль, напротив, печени твоей послабление дать серьезное. Это для нас баловство будет, дело нехитрое. А вот если слушаешь меня внимательно, интерес имеешь, расскажу я тебе о принадлежностях людских, в Смертной магии особенную Силу имеющих.

Если далек человек от тебя, в тысяче верст расположен, а тебе иль помочь ему надобно, иль жизнь его забрать – обратись к хранителям своим, чтобы сказали они тебе точную дату рождения человека этого. Если баба это мужняя, с фамилией чужой – узнать надобно, как по родителям она называлась. Еще хранитель сказать тебе может, как кликали человечка этого, прозвище его или имя ласковое. Этого достаточно будет, чтобы Силу над ним возыметь на веки вечные. Ну а если близок человечишко – многое из потреба его годным будет: перво-наперво волос его, состриженный или оброненный, ногти стриженые, зуб утерянный, кровь истекшую. Потом человечишко исходит – платочек ему дай свой оприходовать, а затем прибереги – власть ты над человеком этим обрел. У мужика еще, ясно дело, семя, а у бабы – выделения ее кровавые. А если кушаешь с человечком нужным – хлебушек, им кусанный, но не доеденный, прибери или тот кус, которым поперхнулся он опрометчиво, – уже в этом кусе смерть его содержится.

Из вещей особо годны сродненные с ним предметы – может быть, это именные часы будут, или брошь фамильная, иль еще какие-то родословные украшения. Попало тебе это в руки – и царем судьбы человека этого сделался.

Еще хороша фотокарточка или портрет художественный. Но самое средство сильное – земля могильная, где родня его похоронена. Обращаться с ней нужно осторожно, особенно если не ведаешь, для чего это надобно...

Все, Сергей Дмитрич, страшатся, когда покойничек снится, дурной приметой это считается, смерти предвестником. И правда, и неправда в этом сокрыта. Привиделся тебе мертвый во сне – благодать в этом, и худо с человеком сделаться может, если он прихода этого страшится, от прихода этого отбрехивается. Многие поминать покойного начинают, блины да кутью готовить, да только не еда со стола вашего нужна ему, а духа вашего почитание и уважение. Тогда он от смерти скорой оберечь сможет, хранителем незримым стать, а по смерти вашей примет радушно.

Расскажу я тебе, Сергей Дмитрич, еще историю одну. Было дело это в июне 1941 года, а если точнее быть – то в ночь с 21 на 22 июня – один весьма научный букашка человечий спустился во вскрытую гробницу Тимура, завоевателя великого, кровожаждущего, и череп Тимуровский в руки берет...

А что через несколько часов случилось – ты и сам, Сергей Дмитрич, знаешь без моего. Деда-то своего, почитай, потерял в Великую Отечественную, да? Ты можешь сказать – мол, случайно все это вышло – да только говорю: не случайно все это!

Следователь: – Складно кроешь, Андрей Николаевич...

Стоменов: – У кого жизнь складно идет, тот и говорит знаючи. Много я по свету погулял, видел разного, слышал дельного и бездельного, но еще больше знаю того, чем Никола с нами делился. Правда его была, много раз пришлось убедиться в этом. Бродишь по уезду – народ дикий, смурной, суеверный, верят во что ни попадя. У смоленских своими глазами видал, как кол осиновый мужики в могилу колдуну своему померишему вбивали… Боялись колдунов этих – страсть как боялись, да только там предрассудки одни, а проку немного. Вологодский колдун, помираючи, совет дает: если в поле умереть мне придется, то в избу не вносите, а коли в избе смерть придет – выносите не ногами вперед, а головой, а у первой реки остановитесь, навзничь в гробу переверните и пятки или жилы подколенные подрежьте. Скажи мне, Сергей Дмитрич, чего ж это за колдун такой, что знать не знает, где смерть принять придется, догадку строит, а?

Следователь: – А ты, никак, знаешь, Андрей Николаевич?

Стоменов: – А то как же! И смерть свою знаю, и время ее. Грош бы цена слову моему, если над другим потешаюсь, а сам таков же. Нас, Сергей Дмитрич, немного Магов Смертных на земле этой ходит, и каждый кончину свою доподлинно ведает. Кто сто сорок лет проживет, кому не боле сорока полагается, мне вот восемьдесят Николой заповедовано. Он известие имеет, кому когда правильным умирать будет, и никто еще из кривошеевских и никитовских не ослушался его. Не было такого! Не ослушались и те, кто на смену покойничкам нашенским пришли...

Следователь: – А что, ослушаться можно?

Стоменов: – Да вроде бы и не понукает никто, только никому это на ум не пришло. И говорю я это не потому, что мысли в нас такие бродют, а лишь потому, что много с человеками судьбы обычной, непримечательной делов иметь пришлось. А вы другие, вас постоянно сомнения одолевают, вопросы разные, вроде: «А что, если...» да «Каков в этом смысл?» Моя душа прозрачна, Сергей Дмитрич, прозрачнее родниковой воды будет. Вот тут ваш дружок потешный голос свой надсаживал, что, дескать, кровью замутнена водица моя, да только не пойму я, о чем это он... Живу я светло, потому что знать не знаю, для чего я живу и почему вот говорю тебе все это. Так уж у нас заведано – известно мне, что сподручник мой в Красноярских краях исполняет, но не ведомо, для чего я здесь и какова польза от этого.

Следователь: – Значит, Никола ваш всеми вами управляет?

Стоменов: – Никола свое деет, он к царству мертвых ближе всего будет. А нас хранители направляют, совет дают, о спокойствии и безмятежности нашей исправно пекутся. До знакомства с вами, мужи государственные, Андрюша – висельник был ко мне других ближе, а теперь – Андрей, от тифа сгинувший, со мной денно и нощно рядом. Ты, Сергей Дмитрич, чую я, предположение имеешь, что Никола вообще смерти не имеет, так ошибаешься ты. Николе сейчас сто пять годков будет, и отпущено ему до конца века нынешнего прожить. Сказку, небось, читали: «Жили они долго и счастливо и умерли в один день...»

Все-таки умерли, Сергей Дмитрич, хотя и после того, как «долго и счастливо».

В 2001 году в Мир этот новый Никола придет. Звать его, конечно, по- другому будут, год, который назвал я, не день рождения его означает, а день Прихода к нему людей, в силу его уверовавших...

Кристо Ракшиев (дневники)

В 1919 году деревня Кривошеевка опустела. В день ухода в деревне, по словам Кривошеева, находилось пятьдесят четыре человека, ушло же сорок девять. Пятеро были детьми от трех до одиннадцати лет, их всех тихо передушили и тщательно, с любовью, захоронили на кривошеевском кладбище. Ни слез, ни причитаний не было, психоз полыхал вовсю. Я не знаю, как назвать ЭТО по- иному... Тридцать два мужика и семнадцать баб разбрелись по миру в только им известных направлениях. Нет, кое-что мне теперь известно. Сам Кривошеев, в конце концов, приноровился в Софии. Никола – хм, недурно устроился, в Филадельфии. Кто-то, я так понимаю, сейчас в Союзе, в Красноярском крае... Марфа умерла в 1939 году в Югославии, Ерофей, отец Николы, умер в 1969 году в Казани. Народился уже давно их новый дьявол, тоже где-то в Советах.

Я полез в литературу искать день его рождения: Кривошеев сказал, что народился он хоть и в год другой, но дни, схожие со смертью Гришки Распутина. На Гришке, по его словам, печать смерти за два дня организовалась, вот и Никола новый родится, с печатью этой соотнесенный. Григорий Распутин, фаворит царский, был убит в Юсуповском дворце в ночь с шестнадцатого на семнадцатое декабря, то есть, если я правильно понял разглагольствования Кривошеева, дьяволище их родиться должен или четырнадцатого, или пятнадцатого декабря.

Черт, черт подери, чем я занимаюсь?! С чего он взял, что у меня с головой что-то? Врачи говорят – сердце береги – болит, зараза. Надо меньше курить, меньше курить. Поголодать, что ли? Ишь, не ест по три дня, а не скажешь:

розовощекий, глаза блестят, зубы... как ему удалось сохранить такие зубы?

Пишу про магию дальше...

Голодать, с бабой не спать, молчать – мало! Главное, чтобы та сила, которая в тебе рождается, толкает на усилия нечеловеческие, чтобы жажду свою притупить, успокоить – эта Сила должна быть подчинена, но не утихомирена, а напротив, усилена еще больше и направлена вовне. Если эта Сила в тебе обуздана – дерево с корнем из земли вывернуть сможешь, за версту от тебя стоящее, одним только взором пристальным. Поверить я в это не могу, но Кривошеев утверждает, что это так. Странно, но ему никто из следователей не предлагает проделать какой-либо фокус из тех, о которых он рассказывает. Хотя... Про печень полковнику помянул – случайно или знает что-то? Знает, что у меня детей нет. Непрост дед, ой, непрост! Говорит чудно – то как академик вещает, а то говором каким-то чудным... Я справился у Фрейда относительно воздержания, он говорит, что это обычное дело, сублимация, ну и прочая ахинея. Фрейд – он и есть Фрейд.

Голод ослабляет человека. По Кривошееву же – силу дает, если правильный подход иметь.

А в чем подход этот заключается, мне не понять. Почему, например, нельзя голодать, если до этого другой голод не познал – вожделение сексуальное? Почему? Почему сначала раззадорить человека нужно, чтобы потом предмет желания у него отнять? Почему ругаться нельзя? Фрейд говорил, что ругаться полезно, нервное напряжение снимает... Кривошеев говорит иное. Почему, почему, почему? Ну, молчу я, положим, сорок дней и даже больше – и что, магом заделаюсь? Немые, выходит, самые невозможные маги будут! Так ведь получается?

А ведь про Тимура я думал, что наврал Кривошеев. Полез в литературу – а это правда, правдивей не бывает. «Букашкой» этой, как его Кривошеев назвал, был известный антрополог и археолог Герасимов.

Допрос, день четырнадцатый

Стоменов: – Так уж выходит, что на каждое явление бывает оппозиция его. День и ночь, черное и белое, добро и зло, бог и дьявол. Величайшая антитеза – это жизнь и смерть: хоть человеческая, хоть любая другая. Смотрите, Сергей Дмитрич: определенные богохульственные ритуалы, положим, чтение молитвы задом наперед или, например, ассоциирование креста Иисусова к органам детородным – цель у них простая выходит: почитателей бога бессильными показать. Только делают они более чем сами это понять могут: не показ бессилия божьего это, а истинное магическое обессиливание врага своего. Оттого все так богохульства страшатся – нет, не потому, что боженька накажет или проклянет на веки вечные, а лишь потому, что богохульничающий веру твою обессиливает и тебя самого. Никола сказывал нам: если хочешь Силу обрести великую, то пользуй то, что противоположность твоя. Потому и наблюдается из века в век: как человек яркий, жизнь любящий, живому поклоняющийся, так и помирает других много раньше. Или возьми, к примеру, добро ваше, что зло тысячелетиями искоренить пытается... Зло, если вашей меркой мерять, посильнее добра-то будет, но с добром никак не сладит. А почему? А потому что добро силою зла пользуется, рушит и мертвит ради блага ее и справедливости. Так вот: и те не ведают, что делают, и другие, а посему и прок невелик от деяний их. Но Смертной Силы Магия к мертвому обращается, чтобы жизнь свою упрочить, корнями разрастись. В противоположности твоей всегда Сила больше, чем в тебе, и эту Силу использовать умей... Уговоришься разумно, знаючи – чудеса сотворять сможешь, власть над миром земным обретешь великую.

Взор у меня и сейчас востр, а по молодости – еще вострее был. Никола-то меня и ослепил, чтобы силу я нашел, в противоположности прятанную. Бродил я, незрячий, по лесу, как кутенок слепой, – слух обострился, нюх собачьим стал, а потом, Сергей Дмитрич, видеть я стал взором внутренним. Сначала – ночь ото дня различать стал, опосля деревья и пни узрел, а уж потом букашечку каждую на землице разглядеть мог. Вот и получил, а как назовешь, тебе лучше знать: ясновидением аль еще как – вижу я мир очами своими, но земли и моря иные, далекие, зреть могу тем взором, что в лесах мне открылся...

Если чревоугодничаешь ты – Силу в голоде великом найти сможешь. Пищи себя лишаешь умело, потребность свою преобразишь умеючи – и потом не только голод случайный, нежданный легко сдюжишь, но и пищу правильную различать станешь, чрево насыщать с толком великим. Удержишь если, и не крикнет естество твое криком громким, когда страх в нутро твое закрадется неведомый, – кликнуть духом своим сможешь, да так, что на земле иной, далекой, услышать можно будет. А если жить хочешь надежно, неопасливо – мертвых бери в сообщники свои, хранителями своими сделай. Любая охрана земная столь же смертна, как и ты сам, только мертвый всеведущ, уберечь тебя сможет от всего, от чего

никто не уберегет...

Следователь: – Но, Андрей Николаевич, скажите, какая нужда мертвых о судьбах ваших печься заставляет?

Стоменов: – Каких слов ты ждешь от меня? Так уж в мире устроено. Жить хочешь ладно, уверенно – к мертвому ближе будь, а помереть хочешь скоро – жизнелюбствуй и траве-мураве хвальбу сочиняй. Те, кто смерти страшится, о жизни вечной думу думает, первые жизни лишаются, и не потому, что они страхом обуяны, а лишь потому, что силу в слабости найти тщатся и мир иной не почитают, уважения к нему не имеют. Но заметь, Сергей Дмитрич, равнодушных к смерти хранители тоже в почет не берут. Уважение к миру смертному, мертвых почитание – вот что надобно, чтобы жизнь долгую и надежную иметь.

Следователь: – Значит, чтобы жить хорошо, нужно мертвым поклоняться?

Стоменов: – Ты, Сергей Дмитрич, говори, да не заговаривайся. Если ты, как в церквях, челом бить станешь, крест

носить, гроб лобызать, псалмы читать – проку-то от поклонов твоих? Уважай смерть духом и сердцем своим, хорони покойничков добротно, лютости не имей к царству мертвому – вот и все, что от тебя надобно. Могешь умершего схоронить богато – хорони, средств не жалей, не могешь – бедно могилку справь, но с большим почтением. Будь мудр, когда дело это делаешь: в гроб вещи, покойным любимые, положи обязательно, непременно, но упаси тебя вещицы свои класть или другие чьи-то... Случай один расскажу тебе, Дмитрич: в Брянском уезде Орловской губернии на похоронах колдуна одного положила его дочь в могилу свежей сжатой ржи. И сейчас же после этого гром грянул, туча нашла грозовая с градом и выбило все полевые посевы. С тех пор каждый год, в день похорон колдуна этого, в течение трех лет подряд град грозовой побивал хлеб в одной этой деревне – и ни в чьей больше. И только тогда, когда мужики разрыли могилу эту да сноп гнилой вынули – сгинуло наваждение. Посему правда такая есть – подложи в гроб покойничку вещь какую-либо, человеку принадлежащую, которого погубить тебе надобно, – и приберет скоро к себе этот покойничек. Только люди, это деящие, не ведают, что дело такое можно делать, если поддержку хранителей имеешь, ну а если нет – рисковая затея сия, сам жизни лишиться можешь...

Вот такая наука наша, Сергей Дмитрич. Поэтому, когда ретивец из ваших меня во злах всяких учинял, – смешно мне, право слово! Злобности во мне нету никакой, удел мой смирный, спокойный, а что жизни кого-то лишал – так нет в этом худа... Надобность имею – смерть сотворю, но надобности этой в нас совсем немного будет.

Следователь: – И как часто необходимость такая возникает?

Стоменов: – Надобность эта смертная не мной определяется, но хранителями, а с хранителями Никола речи ведет. Хранители совет дают, а мы прислушиваемся да исполняем. Ты, Сергей Дмитрич, не подумай, в убиении нет мне особого удовольствия. Отрада там есть, не спорю, но невыразительная, малая, потому как больше этого нельзя нам испытывать. Убивцы убийства ради, сладость его вкушающие, во множестве на земле

этой ходят, только судьба у них незавидная будет. По природе устроено: волкам косулю порвать, голод насытить – не грех будет, но не убьет животина животину одного только убийства ради. А вот среди людей такое встретить можно, бывали такие, да и будут еще, тезки Щикатилины всякие (Я смею предположить, что Кривошеев фактически предсказывает появление известного российского маньяка Чикатило, уж слишком большое искушение от созвучия фамилий. К тому же Кривошеев называет его тезкой, а Чикатило звали Андреем. Непонятно только одно – почему он говорит о Чикатило как бы во множественном числе. – Примечание автора). Много смутного земля наша носит. Иногда хранитель наказывает, чтобы человечишке какому-то оборот дать, иногда – от смерти случайной оберечь кого-то или хворь снять тяжелую. Дел много мы, Сергей Дмитрич, делаем, да только ведаем мало – для чего это деется. Знаю я, к примеру, пошто Михаил в Красноярских краях обитает – смуту ему сдержать велено, которая Ульянова Ленина схоронить обычно пытается. Что, думаешь, вру я? Нет, Сергей Дмитрич, не обманываю я тебя, есть такая смута – и еще больше она будет в недалеком времени. Ленина вашего из дома его выкинуть захотят, схоронить обычно, но нельзя этого делать никак, так Андрюха-висельник мне сказывал. Беды тогда ждут Русь великие... Сдюжит Михаил, силу сдержит до конца века этого – ладно будет, а не удержит – худо будет, а как худо – мне неведомо...

Шестнадцатый день допроса

Стоменов: – Гришка Распутин был не из наших – но силен был, очень силен от природы. Нам его Никола поминал еще до революции. Жили мы чуждо ото всех, ни книг не видели, ни люд не приходил. Материны сказы да Николова наука – вот и все мои университеты будут. Читать да писать я много позже обучился, да и то не по нужде, а любопытства ради: чего это люди там все читают, читают – поди, интерес какой-то в этом особый. Почитал, почитал, тьфу!.. Ересь всякая, дитям на потеху. Бросил я чтения эти. Не по мне будет. Что хранители скажут – то и дело, а остальное – так, водица мутная, зеленелая.

Так вот, Никола про Григория-то нам рассказывал, да и говорит, что откровение ему было по Гришке особенное. Тут я тебе, Сергей Дмитрич, одну вещь сперва сказать должен: у люда простого смерти печать появляется примерно этак за неделю. Некоторые калякают, что, мол, за много лет смерть человечью предсказать можно, да только под силу это очень немногим, а чаще всего лгут людишки, так говоря. Человек из нашего, Кривошеевского, рода смерть распознать может лет этак за пять – десять, а человек, просто некоторую силу имеющий, знать о смерти чужой сможет дней за семь – десять, не более, потому как эта самая печать проявляется, и увидеть ее можно. Тут вроде ничего особенного нет, что про смерть человечью узнать можно загодя, многие про это толкуют, да только есть во всем этом знак важный, о котором знать надобно. Так вот, главное в предсмертье не то, когда сама смерть приходит, а тогда, когда эта печать самая проступает. Этот день выйдет особенным, если и человек какой-то особенный будет, в котором или сила, или пророчество какое-то... Как можно отличить человека, который Силу имеет, от всех остальных? А так, что печать эта смертная много позднее у него проступает, за день или за два до самой смерти... Это значит, что защищен человек серьезно Силою своей или какой иною, и трудно смерти к нему подобраться. У Гришки Распутина печать смертная за два дня до смерти проявилась, а узнал это Никола много раньше, потому как хранители его сказывали. Никола потом нам и вещает: «В год другой придет Тот, кто меня заменит, но день, когда народится Он, тем же случится, когда у Григория печать смертная явится...» Много лет прошло с тех пор, но правду Никола сказывал – народился тот, кто после Николы управителем наших будет...

Отчего наша Магия Смертная с судьбою распутинской переплелась – неведомо мне, Сергей Дмитрич, а поэтому и не спрашивай. Все деется так, как Никола сказывает, – и деяться будет на веки вечные.

Следователь: – И как зовут управителя вашего нового? Тоже Григорий?

Стоменов: – А вот имени его не знать мне. Я, Дмитрич, скрывать ничего не скрываю, говорю не таясь, что известно мне, а что не ведаю – того и сказать не могу, а узнать не стремлюсь.

Следователь: – Может, и судьбу мою можешь предсказать?

Стоменов: – Чего ж не сказать, коли знаю... Если про смерть беспокойство имеешь, то одно знаю доподлинно – в ближайшие десять лет тебе не помирать, а что дальше – мне неизвестно. Знаю другое – своя смерть тебя ждет – и никакая другая. Полковник ты сейчас – полковником и останешься, выше тебе не скакнуть, надежды не имей. Печень у тебя нездорова, ревматизм будет, ну а в остальном ничего будешь... В 1991 году работы своей лишишься враз, но без харчей не останешься, даже богатым сделаешься. Отец помрет твой в восемьдесят третьем от сердца, а мать твоя, кажись, даже тебя переживет... (следователь барабанит пальцами по столу, на Кривошеева не смотрит). Старость тебе будет легкая, нетрудная... Ну что, Дмитрич, хватит? (следователь молчит). Хватит, хватит, опосля еще чего-нибудь накалякаю, если спросишь.

Кристо Ракшиев (дневники)

Или правду говорит Кривошеев, или... Суеверный я стал совсем. Аппетита нет никакого, но в столовой сидел с некоторой пользой. Вышло мне на этот раз за одним столом со следователем советским есть. Хороший, фактуристый такой полковник: рослый, крепко сбитый, жгучий брюнет без единого седого волоса, хотя ему близко к сорока, по моей примерке. Ходит исключительно в штатском, всегда тщательно выбрит, всегда немного не в себе... ну, в смысле, – глянешь на него, а он словно в облаках витает. Ест с аппетитом и как-то по-особому, по-аристократически, изысканно, неторопливо. Обычный человек – никакой субординации, ничего лишнего. Классический Сергей Дмитриевич...

– Разрешите вопрос, товарищ полковник?

Я работаю в госбезопасности много лет, целую жизнь... Правило номер один – не будь любопытным, не суй нос куда не следует… и куда следует сунуть, тоже не суй...

– Слушаю.

Тщательно разделывает рыбу. Нож тускло сверкает в его руке.

– Неужели это может быть правдой?

Он отложил нож с вилкой. Чертов аристократ! И этот отсутствующий взгляд...

– Знаете, я думаю, что некоторая правда там, безусловно, имеется. В любом случае, экземпляр прелюбопытнейший.

–Но он же убийца!

Полковник пожимает плечами.

– Вот видите, вы косвенно сами его слова подтверждаете... Те, по поводу пользования силой противоположного, помните? Убийцу, дескать, казнить, а если болен психически – то лечить, но так просто это оставить нельзя! Так мне вас понимать прикажете?

Я растерялся.

– Я искренне ценю ваши чувства, заметьте, они совершенно праведны. Лучших инструментов для более гуманного исправления столь вопиющего беззакония пока еще не придумано – жаль, очень жаль. Мы с вами работаем в интересах государства и, конечно, имеем все необходимые полномочия для того, чтобы для пользы дела оказывать любые формы давления на преступника. Как вам и без моего известно, подобная тактика оправдывает себя далеко не всегда... В данном конкретном случае есть мнение, что с подследственным необходимо избрать тактику предельно корректного, лояльного обращения. И это даст свои плоды, поверьте мне.

Тема исчерпана. Я сдержанно поблагодарил и уткнулся в свою тарелку, понимая, что после такой менторской речи ловить уже нечего. Полковник не то чтобы опасается говорить на эту тему, нет, он просто не считает это нужным, – и я это понял.

Итак, еще твоя правда будет, Кривошеев! Ты чувствуешь себя в безопасности – и имеешь все для этого основания. Есть, видите ли, мнение – вести допросы предельно корректно. Приносить ему его чертову землю из горшка цветочного, морозить для него воду, кормить исходя из его пожеланий. Выслушивать эти монологи про могилы и кладбища, про покойников, про магические ритуалы...

То ли рациональная, то ли иррациональная часть моего «Я» толкает меня записывать все это… Я пишу все – слово в слово, иногда вставляя жесты и эмоции – то, чего нет в стенограммах допросов... Тьфу, черт! Какие это допросы!? Светская беседа! Я пропустил тридцатое июля, пятый день допроса, пропустил допрос от шестого августа. Теперь тринадцатого...

Тринадцатый день допроса, 7 августа, понедельник...

Следователь: – А почему именно тринадцать, Андрей Николаевич? Не семнадцать, не тридцать, не все пятьдесят, в конце концов? Отчего так?

Стоменов (поведя плечами): – Так Никола определил. Чтобы род наш крепок был веками, продолжение свое имел верное – надобно, чтоб не менее тринадцати Магов Смертных было, такую же Силу имеющих, что и Никола имеет. Тринадцать необязательное число будет, потому как может быть и больше. Но меньше никак нельзя!

Следователь: – Тринадцать вместе с Николой считается?

Стоменов: – Ну чего как дите малое, Сергей Дмитрич... Конечно, с Николой, а как иначе? Все мы одной Силы будем, только вся и разница, что порождение магическое он нам дал.

Так вот, слухай далее. Это я для словца красного сказал, что надобно тринадцать камней краеугольных пренепременно. Так статься может, что и меньше нас будет. Но тогда не будет у нас уверенности твердой, что жизнь нашу земную в полной сохранности обеспечим. Может статься – и ничего все будет, но непреклонности нет...

Следователь: – Не очень я тебя понимаю...

Стоменов: – Чего тут неявного? Вообрази, к примеру, что мы тучи грозовые в нужных местах отводим, разразиться им не даем. Когда нас тринадцать или более, то тучи эти мы пренепременно все отведем, но когда нас меньше – можем и не сдюжить, не поспеть везде. Тогда, если вдруг несметные грозы нахлынут, то и сгинуть могут многие из нашего рода. Ну а если мало гроз выйдет, то и все обойдется... Кумекаешь?

Следователь: – Стараюсь изо всех сил. А хранители ваши как же?

Стоменов: – Ой, Сергей Дмитрич, не докучай старика! Хранители нам подсобляют, каждому в отдельности – от всякой случайности берегут. Чаще всего незримы деяния ихние, живешь ты спокойно и безмятежно, потому как многие беды они отводят. Но и приходят к тебе нередко, ответы дают, назидание делают или предупреждения разные. Хранитель – он как оберег будет, он к роду твоему отношение имеет мельчайшее или не имеет его вовсе, а только о сохранении тебя печется. Мы же – небо порождаем ясное для всех из рода Кривошеевского и Никитовского. Оттого – как семя наше по миру хождение имеет великое, так и нам надобно по миру быть разбросанными на больших друг от друга отдалениях. Уразумел теперь, для чего уход мы из деревни своей сделали и по землям разным находимся?

Следователь: – Кажется, да... Только чего ты мне такие бравады пел, что каждый сам по себе и только на себя надежду имеет? Обратное ведь сейчас говоришь, Андрей Николаевич!

Стоменов: – Это пока в Силе наш род – вот и кажется, что перегиб я делаю. Но случись, как я сказывал, что меньше тринадцати нас станет, что Силы общей нашей недостаточно будет – тогда и уразумеешь, что правду ведаю. Тогда в моменты опасные может любой из нас с враждебностью не сладить, но не будет у такого помощи от рода Кривошеевского. А роду нашенскому быть или в Силе, или не быть вовсе.

Ты не подумай, Сергей Дмитрич, что к роду нашему я всем причисление делаю, кто произошел от семени Кривошеевского аль из чрева породился Никитовского. И далеко не любое семя третьеколенное к роду нашему принадлежность будет иметь, а лишь то, которое путь в жизни этой прошло намеренный, магический. До тех пор, пока статься это может, хранители, намеренно нами приставленные, подле него будут, но как истек срок – и покинут они его, оборвется ниточка родовая. Дальше его судьба уже не интересует никого из рода нашего. И с бабами Никитовскими примерная наука выходит – там в порождении только баба и должна быть, чтоб к роду иметь причисление. Коли родился у Никитовской парень, а девки нет, вот и прервалось родовое продолжение. Но девка Никитовская, если народится, уже в следующем колене род продолжить могет...

Следователь: – Погоди, Андрей Николаевич, погоди! В третьем колене – это, выходит, у тебя сын родился, у сына сын и если у следующего тоже сын будет – именно он род продолжает, так? (Стоменов кивает) Если женщина родила дочь, то дочь этой дочери станет роду принадлежать, верно?

Стоменов: – Нет, Сергей Дмитрич, никакой уверенности, что сын с третьего колена или дочь со второго частью рода Кривошеевского станут. Чаще – и не становятся как раз. Но если Путь свой проходят – тогда все верно… Уразумел теперь, отчего деток наших по миру этому во множестве ходит, а в роду самом никак не больше пятидесяти будет всего? Уразумел, вижу. Теперь на другое ответ тебе дам, что узнать хочешь (следователь шутливо грозит Стоменову пальцем). Да, может статься, что в первом уже или во втором колене хворый человек окажется или немощный, но плод породить сможет. Никак семени, которое семя породит нужное, мы не способствуем, за их судьбою не приглядываем, хранителей нету рядом с ними. Кого больной породит – как не другого больного, так ведь думаешь? Только не выходит так, как ты полагаешь. Здоровья семя Кривошеевского любому, из него взращенному, лет на сорок хватит, никак не меньше. Спорить с тобой не буду, не всегда семя колена третьего здоровье великое имеет, да только одно известно доподлинно, что кто Путь проходит магический, тот и здоровье надобное обретает вскорости, и тогда только семени своему ход дает дальнейший. Вот так будет, Сергей Дмитрич, предполагать всякое можно, да только делается многое, чтоб не было предположений всяких в жизненности нашей... (помолчав немного) Со стороны послушаешь, небось, дак лучше и не жить вовсе, чем такую науку сложную постигать... (улыбается) Нет, Дмитрич, светло мне живется, безоблачно, сладостно. Ты вот меня понять силишься, но мне тебя понять много труднее будет, коли заговоришь о своем... Только не заговоришь ты, знаю и не прошу поэтому. Оно и ладно, потому как не стал бы я тебя слухать, Сергей Дмитрич. Да, не стал бы...

(Через некоторую паузу) Еще вот чего тебе поведаю… Попомни вещь одну очень сурьезно, так как многое она в тебе

развернуть сможет, если усвоишь. Ты, Сергей Дмитрич, нужду ко словам моим имеешь некоторую, а я, глядишь, да и скажу многое, чтобы тебе удовлетворение дать. Тогда ты меня бойся, как и всякого другого страшись, кто с подмогою к тебе приходит. Когда человек случайный или намеренный тебе помощь делает, он потом всю жизню свою в ожиданиях, что ты ему в ножки ежеминутно поклоны отвешивать зачнешь. Людишки – они о добре говорят только, но добра истинного немного деят, больше наград разных от него жаждут. Говорится в книгах – дескать, стучи и откроется, но говорю я тебе: не стучи вовсе или колотись только по нужде смертной. Но еще более – за стол не садись, если дверь эту тебе открыли и приглашают, потому как не выйдет тебе на пользу это... Кровью истекаешь если, то к тому стремись, кто залечит рану твою, а поутру и не вспомнит, что ушел ты, не благодарствуя и не прощаясь. Вот добро истинное, если тебе угодно представленье о нем заиметь. А коли нет человека такого, лучшим смерть принять будет, чем у жалосливых и благодарностей ожидающих лекариться...

Следователь: – Сурово говоришь, Андрей Николаевич! Даже если и прав ты – не бывать по-твоему. Мир такой, какой он есть, его не переделать...

Стоменов: – А мир переделывать и надобности нет, он завсегда справедливый выходит. Вот говор идет иногда, что в тюрьмах закон волчий держится. Мне довелось однажды с вором разговор весть, так они как говорят? Не жалей, не бойся, не проси... И слова эти верными будут, как бы тебе обратного ни хотелось, но только это слова лишь, а по делу все иное выходит, и люди те много хуже волков выходят. Но Маг Смертный жалости не знает, потому как Силу имеет... Он Смертную науку ведает, посему и страха не терпит... И

не просит, потому как Силы его лишает деяние сие...

Кристо Ракшиев (дневники)

...Сон неожиданно взорвался в моей голове ослепительной вспышкой. Потный, мокрый, я лежал в своей постели, и мысли мои были светлы, как никогда раньше. Ночной прохладный сквозняк торопливо пробирался сквозь раскрытое окно, блики ползли по стене и умирали в углу комнаты. Я прикидывал так и этак, но из ЕГО слов мой мир рассыпался снежною пылью. Он был непрочен, этот ЕГО мир... И вдруг все сложилось в моей голове. Я лежал и наслаждался этим. Я наслаждался ощущением собственного ничтожества. Я восторгался красотою и великолепием его мира, который не существовал для меня… Я парил над землей, переживая сумасшедший восторг озарения. Его мир не существовал для меня... Его мир не существует для многих... Не для тебя, и не для тебя, и не для тебя – суки вы, суки, сукины вы дети! Не для вас, понимаете!

Он говорит для всех, но не для каждого… Посмотри на себя, Сергей Дмитрич! Может, для тебя? Может, вместишь? Фрейд, Фрейд, а ну-ка ты? Уразумел? Я смеюсь в лицо своей убогости, я хохочу над вами всеми – размазывающими свои сопли на паперти церквей...

Ты – Маг, Кривошеев, и тебе не поклонюсь я... Но тому поклонюсь до земли, чье сердце дрогнет и забьется в Силе небывалой! Ведь есть такой! Есть такие! Кто путь пройти дерзнет, им поведанный, – поклонюсь я поклоном великим...

Шестнадцатый день допроса, четверг

Стоменов: – В 1941 году, когда война началась, попал один военный немцам в лапы со всем своим отрядом. Угодили они под бомбежку лютую, ну а опосля, кто в живых остался, всех в плен взяли. И пошли они по лагерям немецким странствовать: Майданек, Освенцим, Бухенвальд... Человечишко этот, которого Степаном кликали, до самого конца войны по лагерям этим скитался, но выжил, в трубу не попал, от голоду не помер, пулю свою не нашел. В сорок пятом, весной, сгребли многих – и его в том числе – да и повели колоннами на баржу старую. План у немцев таков был: загнать их всем скопом на судно это, трюмы задраить, вывести баржу по реке да там их всех и потопить разом... Немец уже другой тогда был, поверженный, равнодушный ко многому. Вот Степан и еще трое товарищей его этим-то и воспользовались. Шмыгнули они в яму бомбовую, когда колонна шла, и затаились, а никто и внимания на это не обратил. Свезло, значит. Ну они и бежать...

В деревню какую-то забрели, а там нет никого, ни немца, ни жителя, совсем недавно ушли, еще пища на столах теплая. Ну, сотоварищи Степановы на еду и набросились с голодухи-то лагерной, а Степан чуть поел и говорит – мол, будя, ребята, а то помереть можно от сытости неожиданной, желудок не сдюжит. Ребятки-то его не послушались и кушаньев вволю наели, да только прав Степан оказался – померли они все уже к ночи. Схоронил их Степан, сил своих малых не пожалел, а тут и войско советское подоспело: хвать Степана – и в тыл с курьером разбираться, значит, как он измудрился, вражина, в лагерях-то фашистских оказаться. НКВД его быстро в оборот взяло – содрали одежу, да и спрашивают: «А где у тебя, родимый, наколочка лагерная будет, а? В очередь на крематорий стоял? Стоял. А наколочки номерной не имеешь, хотя у всех других имеется она. Как это понимать прикажешь?» Степан говорит: «Хоть режьте меня, хоть стреляйте без суда и следствиев, да только правду я говорю. Полк у меня такой-то, часть такая-то, проверьте». Проверили – есть такое дела. Ну, ему отметочку в документ – и на фронт, шофером, мол, повоюй пока, а живым останешься – мы с тобой еще потолкуем. Сел Степан за баранку, да так до Берлина ее и крутил исправно. Поправился немного на

кашах-то фронтовых. Пострелял даже малость, когда в засаду немецкую угодил. Из рук чьих-то мертвых автомат взял, да и отстреливался, четырех немцев положил. Автомат потом сдать пришлось, потому как не положено ему было. А как только война закончилась – его НКВД хвать и по-новому допрос ведет: как, почему, кто в живых еще остался, кто помер из людей, ему известных, не завербован ли, ну и всякое такое еще... А еще спрашивают: а не приходилось ли ему делов иметь с неким Кривошеевым, который в лагере, ему известном

доподлинно, надзор вел в учреждении особом, которое измывательствами всякими занималось над людом лагерным... А-а, навострил уши, Сергей Дмитрич, я вижу? Тогда дальше слухай.

Учреждение это славы особой не имело, потому как материалом людским пользовалось весьма скупо и в живых никого не оставляло. Дела их были для науки какой-то деянные: то человечка в ледяной воде держут, пока не помрет, то оперируют без всякого послабления, то ядами особыми травят. Выходило так, что Степан единственный свидетель был, который Кривошеева узнать мог, потому как жив остался и умертвлен не был, как все другие, в тех стенах побывавшие. А случилось ему Кривошеева этого при таких обстоятельствах видеть: когда под бомбежку Степан попал, засел ему под лопаткой осколок бомбовый. Да так неудачно, что наружу торчал, болел страшно, гнил...

Приводят его в начале сорок второго к доктору, а доктор и есть этот самый Кривошеев. Повалил он Степана на табурет, да и в ухо ему шепчет: «Ты, милок, к боли-то приготовься, потому как инструмент у меня столярный будет, им я железку из тебя и выковырну, а наркозов вам, смертничкам, не положено будет. Молись хошь богу, а хошь – черту, чтоб кровь потом остановилась...» Уперся в спину Степанову сапогом своим, да клещами осколок-то и вытянул – да так старался, что Степа сознание потерял. Очнулся он уже в бараке своем – выжил, в общем. Яма осколочная в теле его на всю жизнь осталась, отметина, клеймо Кривошеевское. Вот так он и познакомился с ним один-единственный раз. За что НКВД ему вольную и дало. «Если, – говорят, – изловим когда Кривошеева, то тебя найдем, чтоб засвидетельствовал, а пока катись в деревню свою и ртом лишнее не мели, а то языка лишим».

Кривошеев этот, про которого говорю я, – семя Николово будет. Семени нашего много по миру ходит, а надобность в этом лишь в том, что через два поколения семя это плод нужный дает, а в двух предыдущих – проку для нас никакого не будет. Почему я про Степана тебе калякаю – поймешь скоро. Степан вернулся в свою деревню, к жене своей, детки родились у него. Через некоторое время рядом с деревней ихней реку вспять повернуть вздумались, вот и погубили окрестности многие – и деревню эту в том числе. Перебрался Степан и семья его в город большой, а какой именно – не ведаю я, и там зажили потихоньку. Детки подросли, сами семьями обзаводиться начали. Только оказия там вышла, мне известная. Вышла замуж дочка Степанова младшая за человечка семени этого, Кривошеевского. Сам Кривошеев, надзиратель лагерный, под видом фронтовика по Руси скитался, да семя свое разбросать успел. Трое деток у него значилось, да только две дочки померли обе, а сын-то его остался и, уж так вышло, судьбою со Степановой дочерью сошелся. Вот то семя и есть плод Николовый, а потому как случилась такая оказия и так судьбы переплелись страшным совпадением – посему быть сынку этому, рода Кривошеевого, много большую силу иметь, чем Никола имеет. Так мне хранители мои

сказывали, а я лишь слово в слово тебе, Сергей Дмитрич, пересказываю. И то, что печать смерти Гришки Распутина проявил он в рождении своем, – тоже правда, силу его являющая великую. Не имеет он пока еще силы этой, мал будет, лишь от смерти случайной охраняется надежно... Но к концу века нынешнего явится Сила его, и станет он Управителем Смертной Силы Магии – и только тогда Никола смерть свою примет...

А Кривошеев тот, надзиратель лагерный, про которого я сказывал, погиб в семидесятом году, в Нижнем Тагиле обитаючи. Изрубили топорами его собутыльники за слова какие-то неосторожные и схоронили торопливо в ямах свальных, где мусор жгут городской...

Следователь: – А Степан этот что? Где он?

Стоменов: – Да живет себе как-то, а как именно, мне неведомо. Знаю я, что умрет он от болезни страшной, долгой, мучительной, а скрутит его от чего? От того, что правды отведает, что дочь его с сыном вражины лагерной судьбу свою сочла. Правда та нутро ему и выест... Умрет он с досадой лютой на сердце, так никому ничего не сказавши. Ты это, Сергей Дмитрич, сможешь понять – слово НКВД большую силу над судьбами людскими имеет...

Следователь: – Значит, Андрей Николаевич, нового Христа ты нам предвещаешь?..

Стоменов: – Остынь, Дмитрич, о каком Христе речи ведешь? Я об Управителе нашем говорю, но только Никола для людишек других – человек обычный, неприметный, Сила его людям неведома, а о новом Управителе люди известие будут иметь, к Силе его приобщиться смогут, знание Магии Смертной обресть. Христиане твои о жизни загробной пекутся, да о милосердиях разных к себе и близким от бога всемогущего, а нас жизнь загробная хранит и оберегает при жизни земной, а помереть час придет – примет она нас, как и любого другого умершего...

Следователь: – А про загробную жизнь поведать можете, Андрей Николаевич?

Стоменов: – Почему не поведать, коли знаю? Когда я, Сергей Дмитрич, книги-то ради интереса почитывал, я про магии всякие старался что нибудь добыть. Читаю, а там ну такую чепуху пишут, тошно становится. Пишут там, значит, как правильно души мертвых со света того зазывать. Какие-то заговоры, заклятья, то сядь по-особому, то питье пей специальное – ну, скажу я, горазды на выдумку-то! А чтоб с мертвой душой сообщиться – никакой науки особой не надо, они и так всегда с нами рядом ходят. Только кликни про себя – душа какая-нибудь да заявится... Только людям все Наполеона дух подавай али Ульянова, чтоб узнать, значит, плохо ему в мавзолее-то лежится, или ничего. Душу конкретную простым кликом не кликнешь, ее искать надо, как я хранителей своих искал намеренно, а вот случайная забредет легко и поговорить с ней можно, пока не утомит тебя или ее. Либо родственники умершие быстро приходят – только подумай, и они тут как тут, а так как людишки этого ведать не ведают, то и бродит душа, значит, рядом иль во сне приходит, где сомнений у нас нету. Детки много большего взрослых видят, потому как разум у них ясный, светлый, да только взрослыми он у них и отнимается. Калякает дите с домовым иль с духом

каким-нибудь, а папка с мамкой его тут как тут оказываются, говорят, что, мол, не

придумывай да ерунды не говори, потому как нету никаких духов, душ, домовых и русалок, а все это выдумки и сказки. Вот так деток разума их ясного лишают, слепыми делают, хоть и глаза открытыми остаются... А душ мертвых великое число по земле этой ходит, только чтоб заговорить с ними – вновь научиться надо этому. Но это опосля я расскажу, а пока про вопрос твой поведаю...

Царство мертвых необозримо будет. Нет там границ никаких, и нет места такого, куда душа бы смертная забрести не смогла. Вы вот звезды далекие рассмотреть тужитесь, а духу смертному на той звезде побывать, что тебе голову повернуть. Много слышал я от людев да из книг про чистилище, да про сковороды жаркие, про ад и рай небесный, да только не сказывали об этом ни Никола, ни хранители мои. Ад и рай, Сергей Дмитрич, в тебе самом заключаются в полной мере, и только от тебя одного зависит, что будет для тебя мир иной, который зовем мы царством небесным, – адом или раем... Вижу, не понимаешь ты меня. Смотри, Дмитрич, Достоевского-то читал поди, убил этот Раскольник (случайное или намеренное искажение фамилии героя романа Достоевского – Раскольников. – Примечание автора) его старух – да и убил, что тут грешного-то будет? Но выйди так, что опосля этого он смерть скорую принял, – выходит ему маяться вечно в царстве ином, и ничто на свете муку его не утешит... Не потому, что убивец он, а лишь потому, что муку эту терпел.

Или вот возьми мужика обычного, к хмелю пристрастившегося, отрадой пьяной живущего, – помрет он как-то, и будет ему вновь мука вечная, потому как страсть имеет эту, а удовлетворить ее нет у него возможности никакой. (Следователь кивает головой). Закивал, закивал, аки лошадь, – понял, значит. В тебе, Сергей Дмитрич, ад и рай весь содержатся в полной мере, и от тебя зависит, адом иль раем будет тебе царство мертвое.

Следователь (перебивая): – Постойте-ка, Андрей Николаевич... Получается... Значит, если вы говорите, что Сила дается в противоположности и на земле этой вы мертвое почтением окружаете и Силу у него берете, то...

Стоменов (перебивая): – Ай да Дмитрич, вот не ожидал, соображение имеешь, право слово. Верно, верно судишь – Сила в царстве загробном берется с места противоположного, то есть с миру нашего, земного. Поэтому покойнички бессчетно по миру этому ходют – чуют Силу, да только приобщиться к ней не могут. Это как людишки, что в дом Ленина толпами огромными прут, – чуют Силу, да только не ведают этого, а если бы и знали, то взять не смогли, потому как не умеют этого. Вот так, Дмитрич, получается, ходят первые округ вторых, а вторые округ первых, а пользу не имеют, потому как не знают... Только маги Силы Смертной приход имеют, когда захотят, и Силу берут, сколько наказано Управителем их...

Бывает так, Сергей Дмитрич, что грешил, по меркам людским, человек много, а как в царство мертвое попал – никакого наказания ему и нет там, и обитается ему спокойно – а почему так? Потому что совестливостью себя не терзал, страстями многими не маялся – вот и покой получил. Или полюбила баба мужика какого-нибудь, а мужик ее замечать не хочет. Баба помаялась, мысль дурную имеет – не жить, мол, без него – и в петлю. Да только бабе той и на свете том бессчетно муку принимать, другого ей не дано будет. И не от того, что убила она саму себя, грешница и божья преступница, а от того лишь, что саму себя наказала она на веки вечные... А другие – жили долго и счастливо, да и умерли они в один день – так они, Дмитрич, и на свете том всегда рядушком будут, в любви, покое и согласии великом. Вот оно какое будет, царство небесное. Нет там судилища никакого, а суд всегда над собой сам чинишь – и никто боле...

Если плотское страдание имеет человек, тело его недруг терзает, пытку делает или болезнь какая-то человека изматывает – освобождение будет человеку этому, когда умрет он, боль земная на земле и останется. Но если, в царство мертвых придя, душа лютой ненавистью мучителя ненавидит – страдание будет душе этой, потому как нет возможности у нее месть свою осуществить. Даже и мучитель если умрет, послабления не будет – страдать этой душе вечность неотвратимо.

А посему выходит, Сергей Дмитрич, что рай если обресть хочешь на свете ином, то живи, как угодно душе твоей, только умереть сумей бесстрастно, страсть свою с собой не захвати. Как раньше бывало – старится мужик какой-то, так и от утех плотских отходит, горькую не пьет и интереса не имеет, зла ни на кого не держит, о богатствах и добре не печется – вот и умирает тихо, покойно, и в царстве небесном жизнь покойную имеет. А мрешь если у сундуков своих огромных, кручинишься о деньгах своих непотраченных – вот и прими на том свете муку бесконечную, тобой порожденную...

Вит Ценев

– Как обычный среднестатистический гражданин, я весьма суеверный человек, и не очень мне хочется думать над тем, что ждет меня после смерти. Когда думаешь о таких вещах – постепенно накатывает страх, и больше об этом стараешься не думать. Говорят, в психологии есть специальная теория о том, что основные человеческие проблемы происходят от глубоко спрятанного страха смерти. В чем тонкости этой теории – я не знаю, да и не стремлюсь узнать. Без воодушевления я взялся писать эту книгу... Писать эту книгу... Мой читатель может спросить у меня: а в чем заслуга твоя будет, Вит? Разве это ты написал, о чем мы читаем? Нет, написано все это не тобой, а ты взял да и поставил имя свое на титульном листе. Отчего поставил – пренепонятно нам, уважаемый писатель, объясните нам, а мы будем премного благодарны.

Я отвечу тебе, наблюдательный мой читатель. Да, на титульном листе мое имя, и я считаюсь автором этой книги.

Почему? Буду краток – так Кристо пожелал.

«Вот записи мои, вот я сам, рассказать много чего могу, но не осилить мне книгу эту, Вит, ей-богу, не осилить, поэтому пиши ты: помянешь меня – хорошо, не помянешь – обижаться не буду. Хоть так пиши, что сам допрос ведешь, от своего лица как будто, но только другого ничего не искажая – как по стенографии моей есть – так и следуй. Только последовательность я не соблюдал – то одно нахлынет, и я запишу, более позднее, а то, после этого, другое – много более ранний допрос. Путаница у меня и в голове, и в записях – тебе разбирать да укладывать все это...» Пользоваться советом Кристо я не стал, следователем не сделался и оставил все как есть, даже откровенную непоследовательность в днях допросов Кривошеева сохранил в первоначальном виде. Так было в его тетрадках под номерами «1», «2», ну и так далее... Не зная, что делать с дневниками Ракшиева, я просто решил включать отрывки из них в контекст между стенограммами допросов. Читать его дневники было тяжело, я осмелился убрать большую часть ненормативной лексики и существенно подработал текст стилистически.

Писалось трудно, а выразить свое отношение к написанному оказалось еще труднее... Книг

существует много, истины у всех разные. Я старался как мог понять ту странную философию, которую он неторопливо излагал со строк стенограмм допросов. Иногда мне казалось, что я понимаю, и даже больше, – принимаю все то, о чем он стремился поведать, иногда – словно надламывалось что-то, и чувствовал я только одно-единственное – страх и отчаяние... Но шли дни, страх мой исчезал, и появлялись неведомые Силы...

...И я снова сажусь за печатную машинку...

Кристо Ракшиев (дневники)

Мне снятся мертвые... Снятся почти каждую ночь, приходит мать, приходит отец, говорят со мной о чем-то – долго и утомительно. Сплю плохо, лекарства не помогают, часто кружится голова, силы на исходе. Меня беспокоят слуховые галлюцинации – наверное, я схожу с ума, слышу какие-то голоса, звуки, шорохи, стуки... Немного помогает холодный душ. Пишу семнадцатый день допросов. Своих мыслей нет...

Семнадцатый день допросов, 11 августа 1978 года, пятница

Стоменов: – Известно мне, Сергей Дмитрич, какого рода интерес ты ко мне имеешь, а посему спросить у тебя хочу: назови мне слов каких нибудь, которые хвори означают разные...

Следователь: – Болезни? Да сколько угодно! Свинка, желтуха, рак, изжога, диабет, инфаркт, эпилепсия...

Стоменов (перебивая): – Будет, будет, разошелся, смотри-ка ты! Ну а теперя слова мне скажи, что здоровье твое или другое чье-то означают, а?

Следователь (пожимая плечами): – Здоровье и будет, как еще назовешь? Болезней много, а здоровье одно будет... Кровь с молоком... Богатырское здоровье, сибирское здоровье...

Стоменов: – Гляди, как выходит, Дмитрич, – как про хворь заикнулся я, так из тебя слова в разные стороны полезли, а как про тело справное, доброе сказал, так запинка у тебя вышла и ничего путнего сказать ты не смог. Слов болезных много придумали вы, как пулями дурными словами этими постреливаете, а вот слов, про здоровье сказывающих, не имеете вовсе. Известно мне, положим, что у врачевателей ваших от сорока до шестидесяти тыщ слов имеется, о болезнях толкующих, но спроси их про здоровье – и они, Дмитрич, и двух десятков не наберут. Хошь верь мне, а хошь – не верь, но правда такая будет: если желаешь людям послабление от хворей дать великое, то так сделай, чтобы слов, здоровье подразумевающих, было у человека на уме не два или три, как у тебя, но тыщи две, а то и больше. А как сделать это – вашим мужам ученым задача будет. Попомни крепко: чем больше больных слов, тем хвори больше. Скоро и языковеды ваши до этого докумекают...

Смотри, Сергей Дмитрич, я тебе это враз в подробностях объяснение сделаю: положим, время от времени выходит с тобой некая оказия – у тебя разика два в месяц ощущение бывает, что по ногтям на твоих ногах бегают мурашки. Ну бегают и бегают, но ты к лекарю идешь и говоришь ему об этом. Лекарь лоб свой чешет, потому как в книгах вумных ничего об ентом не сказано – да и пишет работу ученую – открыл, дескать, хворь новую и назвал ее мурашкия. Вот так, Сергей Дмитрич, болезням многим и ход дается. Зачесались у кого-то пальцы на ногах, а ученые мужи ваши уже ведают: так у тебя, мил человек, мурашкия, болезня такая, лечить надобно... Вот и вся наука будет (следователь

смеется)...

Следователь: – Ну, уморил, Андрей Николаевич! Выходит, и рака нет, и инфаркта, а все выдумки одни и мрут люди из-за одних только выдумок исключительно, да? Так тебя понимать?

Стоменов: – Есть, есть – и рак есть, и мурашкия эта (следователь смеется).

Только раньше люд деревенский бздел, как хотел, а лекаря ваши и это в науке прописали (следователь смеется), аль неправду говорю? Ерофей, положим, бздуном был особым, за версту слыхать, а особенно нападало на него, когда крестился да поклоны отпускал Царю небесному (следователь хохочет), так нешто кто из деревни нашей мнение имел, что болезня это? Во как, чудак человек, заливается, будто сказал я смешное... Ты поведай – дак и вместе посмеемся...

Следователь (отирая глаза): – Не обижайся, Андрей Николаевич, вещи ты правильные толкуешь, только смеха моего не понять тебе... Извини...

Стоменов: – Кривошеевские и до обращения в Силу Смертную особо не хворали, ну а опосля – и думать забыли, что это такое есть. Но строго-настрого наказ нам дан Николой – словам хворным ходу не давать. Речи такие не веди и про себя мысль не держи, а как сделать посему – учил он нас. Бегает если лиса по лесу и болезнев не ведает – что она, Дмитрич, здоровее человека будет, а? Да нет же, а только разница вся между лисом и человеком будет, что лис слов мудреных не говорит, питается вернее, да еще от правил нравственных мученичеств не принимает, а душит себе хорьков да других зверюшек на пропитание и живет себе беззаботно. Маг Кривошеевский по тем же законам живет: слов ядовитых он не ведает, страданием пустым не горюет, питание имеет разумное и жизнь у другого в угоду свою отнять может...

Следователь: – Я этой патетики, Андрей Николаевич, не понимаю. Живете-то вы все, будучи людьми другими окруженные, в котором законы существуют и правила, – и этим законам необходимо соответствовать... Если ты мне про лису толкуешь, то отчего сам, как лиса, в лесах не обитаешь? У тебя квартира была неплохая, пенсию ты получал регулярную – а если б нет, как питался бы, скажи? Откуда у тебя документы подлинные – говорить не хочешь... Скрываешь ты чего-то, Андрей Николаевич, юлишь – вот что я тебе скажу!

Стоменов: – Есть на земле этой людев сообщество – оно природе защиту делает. Сыщут они зверя какого-нибудь редкого – да и в книги его записывают, в клетки садют специальные, охраняют то бишь всячески от полного его исчезновения. Да только не имеет это никакой надобности, потому как если лес да горы с реками этого зверя из своей книги, люду неведомой, уже вычеркнули – то и нужды по зверю этому у природы больше нету. Если, положим, людишки эти пожар лесной тушить берутся – то им от этого леса благодарность есть, а вот проку от спасеньев букашек редких нету, Дмитрич... (следователь встает, подходит к Стоменову и отстегивает у него наручники. Стоменов блаженно потягивается и потирает запястья)...

Кристо Ракшиев (рассказывает)

Когда полковник это сделал – я буквально на стуле подпрыгнул. Это было беспрецедентное, грубейшее нарушение инструкции допроса. В холле постоянно находились охранник и дежурный офицер, которые по команде следователя снимали с подследственного наручники, чтобы он попил воды, почесался, проводить его в туалет и тому подобное... При наручниках, пристегнутых к столу, свобода действия рук составляет не более десяти сантиметров. На каждого из подследственных, помимо общей директивы, разрабатывались особые предписания. Иногда подследственному приходилось испражняться прямо в кабинете допросов – ему отстегивали только одну руку. Для одного буйного, снимать наручники с которого было категорически запрещено, пришлось еще делать специальную резиновую маску – он часто просил пить, а при попытке напоить его делал неимоверные усилия, чтобы укусить любого... Кого-то, напротив, позволялось допрашивать вообще без наручников, но это встречалось исключительно редко. Все предписания составлялись врачебной коллегией и шли на подпись к начальству... Малейшая ошибка в требованиях к допрашиваемому означает преступную халатность и суд, поэтому предписания чаще всего были излишне категоричными. Так было спокойнее... К Стоменову, согласно инструкции, нельзя было даже подходить в одиночку, а уж тем более снимать с него наручники. Подобные случаи иногда все же бывают – следователь по каким-то причинам нарушал предписания безопасности по обращению с подследственными. Один такой случай вышел у Фрейда – он перестраховался, предъявляя жесткие требования по безопасности к подследственному, который, как он считал, «клопа не задавит», а следователь, который неофициально разделял это мнение о безопасности, отстегнул одну руку, чтобы напоить «тихоню», – и враз лишился левого глаза... Насмотрелся я, Вит, всякого насмотрелся!.. Я долго потом думал, что произошло в этот раз – внушение, телепатия, гипноз? Хер его разберет! Без всякой на то причины гэбэшник снял с Кривошеева наручники...

Стоменов: – Ой, спасибоньки, Сергей Дмитрич, уважил старика, а то затекли ручонки-то мои... (следователь садится). Вот это мой ответ будет на докучания ваши по поводу, где я документ взял...

Следователь (поднимая брови): – Прошу прощения, что? Я чего-то...

Стоменов: – Я ж тебя, Дмитрич, отмыкать меня не просил!..

Следователь: – Секундочку!.. (вскакивает). Руки на стол! Вот черт!..

Стоменов (спокойно): – Да не снуй почем зря, не снуй, Дмитрич... Вот, гляди, руки я ложу, а ты подходи, заковывай, коли не положено-то... (следователь в задумчивости замирает на секунду, держа палец на кнопке вызова, затем подходит к Стоменову и застегивает наручники. Стоменов улыбается).

Следователь (садится): – Ладно, Андрей Николаевич, обсудим...

Кристо Ракшиев

Он досадливо так на меня посмотрел тогда... Один-единственный раз я видел этого советского полковника растерянным, выказавшим какие то скрытые, нежелательные для него эмоции, – я видел это, и мне понятна была его досада. Быть может, прошли какие-то мгновения, прежде чем он окончательно взял себя в руки. После этого он снова был сдержан, предупредителен, вежлив, внимателен, иногда я слышал, как он смеется, – смех у него был глухой и раскатистый. Есть люди, которые умеют незаразительно смеяться, – он был из таких...

Стоменов: – Имеющий Силу может сделать так, что другой человек выполнит твое желание только потому, что ты правильно его подумал… Не обижайся на меня, Дмитрич, я не со зла это сделал, а только чтоб ты не сумневался в

том, что я ведаю. Чую я, как ум твой иногда взорваться готов, – и соглашаешься ты со мной, и в ту же минуту не можешь согласиться со мной никаким образом… Ты человек сильный будешь, и я к тебе уважение имею. Я тебе ПОКАЗАЛ, чтоб не докучали мне вопросом назойливым, где я документ достать изготовился, – и больше по поводу этому говорить охоты не имею. А на другие твои интересы по возможности ответ дам...

Семнадцатый день допроса

Стоменов: – Когда сказывал я, что сорок деньков удерж молчанием имел, Борислав только глядел искоса, да и ничего больше. Я тебе, Сергей Дмитрич, вряд ли смогу в подробностях растолковать, как у меня этот крик безмолвный вышел. Но после того позвать мужика деревенского мог я завсегда, как бы далеко от него ни находился. Хошь – пять верст, хошь – сто… Тогда я еще в слабости был, Силы не имел серьезной – оттого и подсобление мог получить, если нужду имел. В Магии есть миг один, когда отрываешься ты от мира, тебя окружающего, навсегда. Во время наступления его и опосля уже не придет к тебе с подмогою никто, как бы ты ни громогласничал. Рядом стоять будут – но даже пальцу шевеления не дадут, чтобы беду твою уладить сообща. Почему так делается? А для того это выходит, чтоб Маг будущный или Маг свершившийся на себя опор полный имел – и ни на кого более. Пока надеешься, помощи жаждешь – собственную Силу хоронишь, опереться на нее не можешь, воспользоваться ею по-должному. А посему крик мой тогдашний первым и последним был за всю мою жизнь долгую... Хотя нет, было еще разик, когда незрячим один на один с лесом остался, – заголосил было, но и понял тогда окончательно, что не будет подмоги мне никакой… Ты вот, Дмитрич, подробностей знать хочешь, а я слов для них не имею. Как мне тебе растолковать, что я мысль свою твоею сделать могу. Будто бы у тебя она родилась в головушке твоей, а ты ей и ход дал надобный. Вот вы меня куете к столу этому пренепременно, дак и куйте, раз вам спокойствие от этого выходит. Но это до тех пор лишь, пока хранители мои шалостью железку эту считают. Она меня не томит, вреда мне не делает – ну и ладно. Не я – вы, Сергей Дмитрич, страхи терпите: вдруг кинется, учинит чего, руки на себя наложить вздумает, мало ли... Только вот руки изредка тяжелеют от однообразия сидения моего.

Теперь словом говорю – откуй ты меня, беды не будет никакой. Исполнишь?

Следователь (отрицательно качает головой): – Не могу, Андрей Николаевич...

Стоменов: – Боишься... Ладно, ладно, не внимай, это я так, несурьезно...

Пятнадцатый день допроса

Стоменов: – Мужик деревенский спит не так уж много, но шибко спит – из пушки не разбудишь. Никола сказывал нам, что есть одна книга, в которой учитель просит учеников своих бодрствовать, но те все равно засыпают сном беспробудным (скорее всего имеется в виду Новый Завет. – Вит Ценев).

«Каждому, – говорит, – из вас муку бессонную принять придется, да только по-иному все будет, чем в книге этой говорится...» Это со мной сделалось после того, как молчал я сорок дней и сорок ночей. Под вечер, в один из дней осенних, мне Никола велит – отправляйся в лес, а когда вернуться из него – сам узнаешь, откровение тебе будет. И побрел я, Сергей Дмитрич, в лес. А в лесу – тишь странная, ни души будет: птичьих голосов не слышно, зверь не прошмыгнет, только шорохи листвы опавшей да ветви деревьев волнуются. Со мной ни харча, ни ножа или рогатины, чтоб, значит, от зверя отбиться, если приключится что... Только темнеть начало, гляжу – волки, стая огромадная, штук тридцать, не меньше будет. Взяли меня в круг и жмут потихоньку, пасти скалят голодные. Делать нечего будет, покарабкался я на дерево, ветку на высоте нашел покрепше да и примостился. Темень быстро пришла, лес собой накрыла, словно одеялом. Волки под деревом стражу держут. Кликнул я деревенских наших голосом внутренним, да и помощи ждать собрался. И такая сонливость меня взяла после этого – спасу нет. Голод пропал, жажда пропала, холода не чую, зябнуть перестал, и одного только хочется – уснуть крепко. Но только веки опущу – волки внизу выть зачнут в ту же минуту. Если усну, думаю, вниз упасть могу, а там они меня вмиг раздерут. Глаза потру, покрепше в ветки вцеплюсь, со сном борьбу веду, да только не выходит у меня ничего... Смыкаются веки мои, шум в голове стоит великий, руки слабнут, тело не слушается... Волки внизу зашевелились, вокруг дерева забегали, рычат страшно, жадно. Встрепенулся я, понял, что помощи не будет мне от Кривошеевских, а выходит только, что сдюжу если – ладно будет, а нет – сожрут меня звери...

А что дальше выходить стало – мне, Дмитрич, описать непросто будет. Прошел вдруг озноб мой, страх смертный исчез куда-то, сонливость пропала, и вокруг меня словно светлее стало. Вижу все отчетливо, как днем: волки в разные стороны бегут. Раз – и не осталось их ни одного. С хвостом последнего, который в кустах мелькнул, первый луч света пробился рассветный... Всю ночь, выходит, я на дереве-то просидел, от волков хранился, да со сном неодолимым боролся. Ветвь громадная, сидел я на которой, вдруг проломилась подо мной, и на землю я упал – упал, да не ушибся, словно на перину лег. Встал я, оправился – и такую силу в себе почуял, Сергей Дмитрич, такую силу – это ж словами выразить никак невозможно... Такое чувство, будто землю всю нашу на плечо могу вскинуть да понести, будто дерево могучее из земли выдернуть смогу, если дуну на него легонько. Тут голос мне шепчет чей-то – иди, мол, в деревню. Вот так я муку сонливую и выдержал...

Следователь: – Ну и как, выдернул хоть дерево одно с силою такой, а?

Стоменов: – А пошто драть, я и так Силу свою ведаю. Не понимай все так доподлинно, Сергей Дмитрич, я ведь образно говорю. Силу иметь, чтоб врага сокрушить, как говорил я уже, – не велико искусство. Сила истинная Магическая – обессилить мир окружающий для покоя твоего, да для дел тех, о которых хранители заповедывают. А

чтобы Силу эту, если имеешь ее, не утерять, не растратить почем зря – надобно уметь эту Силу приумножать периодически. Если ты человек обычный будешь, но Силу обрести хочешь нечеловеческую, то удерж разный познать тебе надобно в мере необходимой, и если достойным будешь в этом – и Сила будет у тебя. Маг Смертный удерж нечасто делает, потому как управляться с ним умеет, а Силу его великую дает ему царству мертвому поклонение, хранители его да еще и царство мысли смертной.

А что есть такое это царство смертной мысли – растолкую я тебе сейчас... Если ты один, Сергей Дмитрич, в комнате большой папироску свою смолишь, то в комнате entой дым будет чуяться. Если много людей, окромя тебя, еще в этой комнате папиросками дымят, то как говорят? Накурено, хоть топор вешай. Вот так и страх смерти у людев будет – если один человечишко боится, то в царстве ином чуется это, а коли весь люд земной страх великий испытывает, то и в царстве небесном дым огромадный складывается. Дым этот – как электричество будет: он убить сможет, а может свет дать и силу большую. Вычитал я, Дмитрич, что слово есть научное для электричества этого небесного, смертным страхом насыщаемого, – грегор называется, или как его там (скорее всего Кривошеев имел в виду эгрегор – гипотетическое ментальное образование любых коллективных идей. – Вит Ценев). Ничего на свете нет сильнее грегора этого: все переменчивым будет – идеи разные, мыслишки, веры, жизнь любая – только Смертная Сила вечная есть, не знающая ни моралей, ни истины, ни времени, ни законов ваших физических. Мы, Кривошеевские, к грегору этому присоединены крепко, потому как питает он нас Силою и энергией.

Следователь: – Скажи, Андрей Николаевич, если есть ответ такой, вот какую вещь... Ты тут много о магии толкуешь, о силе вашей громадной, да о том, как ты, собственно, магом сделался, а вот обычный человек, тебя послушавший, назидания твои исполнивший, – сможет ли он магом сделаться?

Стоменов: – Сможет, Сергей Дмитрич, люд некоторый к Магии Силы Смертной приобщение иметь, да только выйдет из этого толк немногочисленный. И дело даже не в том, что нет у люда этого Учителя, которому верить они будут беззаветно и беспрекословно, а в том, что больно уж сор велик в головах людских... На протяжении многих и многих лет своего становления человек учится все больше взаимодействовать с миром на основе общепринятых умозаключений, и все меньше – на основе непосредственного переживания этого мира. Для обыкновенного человечишки окружающий мир имеет особенность постоянно не соответствовать представлению об этом мире – оттого человечишко этот так часто страдает и так часто разочаровывается... Маг Силы Смертной не ведает, что такое разочарование, потому как принимает мир таким, каким он себя предъявляет. Много ли людей, Дмитрич, умеют принять деяния земные таким вот образом? Ты можешь подумать, что если не разграничивать в мире добро и зло, то наступит великий хаос... Тогда скажи, отчего в природе зверь лесной деления не имеет на праведника и грешника, но не случается от этого никакой беды? Ты, Дмитрич, можешь и другое мыслить – что я путаницу имею: то калякаю о том, что Сила большая всегда в противоположности своей будет, а то, что нет этих самых противоположностей в природе земной. Да только не путаю я, потому как говорю о противоположностях как о категориях, а вы – как о качествах...

Следователь (перебивая): – Ну, Андрей Николаевич, удивляюсь я тебе! То говоришь ты, как обычный мужик деревенский, а иногда послушаешь – прям как ученый речи излагаешь!

Стоменов: – Научных мужей ваших не переспорить мне будет, словами мудреными не владею, да только и без нужды мне все это. Не мое время и не моя участь – людев Магии Смертной учить. Время придет – и войдет семя Николово в силу свою великую, тогда и Маг этот, тот, кто Николу сменит и управлять всем будет, – он знание дать сможет...

Кристо Ракшиев (дневниковые записи)

Полковник Государственной безопасности Советского Союза Сергей Дмитриевич – это все, что я о нем знаю. Я не знаю, почему здесь именно он, а не кто-нибудь другой... Я не

знаю, почему он без устали ведет допрос день за днем, не зная отдыха, без выходных... Где те трое подполковников, которые приехали вместе с ним?.. Облюбовали, наверное, пляж и нежатся под лучами солнца... Может быть, они главнее его, хоть и по званию ниже, и приехали сюда отдыхать, и только он, этот Сергей Дмитрич, здесь для того, чтобы узнать что-то важное у этого Кривошеева... Никакой, конечно, это не допрос – так, беседа двух друзей, дороги которых разошлись и снова сошлись через некоторое время... Только руки, намертво прикованные к столу у одного из «друзей», возвращают меня в реальность происходящего. Иногда мне кажется, что оба они время от времени испытывают некоторую досаду от этой реальности. Полковник сбросит с себя эту маску, они обнимутся, забредут в какую-нибудь квартирку на окраине и начнут ненасытный торопливый треп без всяких условностей – без протоколов, приказов, инструкций, наручников и прочих формальностей...

Кривошеев не устает говорить. Он может говорить по шестнадцать часов непрерывно: не вспоминая о еде, питье, туалете наконец, не выказывая никаких признаков усталости. Говорят, он спит не больше четырех часов в сутки. Он пьет или дистиллированную воду, которую сначала замораживают, а затем оттаивают – как он просил, или травяной горячий чай без сахара. Иногда просит мед к чаю, обязательно сотовый... Охрана болтливая, да и любопытных много. Всем интересно – чем живет этот старый пердун, чем он дышит, чего делает. То, что происходит в его палате, знает половина персонала, и секрета в этом нет... То, что происходит на допросах, – знают человек шесть, не больше, включая самого Кривошеева...

Его кормят так, как он пожелает. Я приблизительно знаю его меню. Утром он выпивает чашку своего травяного чая и

ничего не ест. Кушает он днем, хотя нет, скорее вечером, часов в пять или шесть, когда как... Одна неделя у него исключительно вегетарианская, в следующую он спокойно ест мясные блюда. Мясо или отварное, или едва поджаренное... Небольшой кусочек хлеба... Никакой сдобы, сладкого... Солью пользуется исключительно редко, не признает ни соусов, ни мясных приправ… Больше одного раза в день он не ест. Приблизительно раз в неделю не ест вовсе целые сутки, только пьет в небольших количествах чай или воду... Три дня не ел совсем – и никаких тягостных признаков в нем я так и не углядел. С ума можно сойти! Один раз попросил граммов пятьдесят красного вина... Горшочек с его проклятой землей ему принесли, чему он был вполне доволен... Черт!

Я потихоньку рассматриваю его иногда... Твердые, мужественные черты загорелого лица, ровные белые крупные зубы, мягкая седая борода, густые седые волосы – ни одной плеши и залысины, несколько крупноватый нос, влажные губы, подтянутое сильное тело без единой капельки лишнего. Он кажется мне рано поседевшим зрелым мужчиной, я бы не дал ему и сорока, если бы не эта абсолютная седина – она сбивает с толку, указывает на возраст. Или он рано поседел, и ему, конечно, совсем не восемьдесят. Ни одного лишнего движения, полное отсутствие нервозности и волнения... Никогда не потеет, не изменяется в лице, я ни разу так и не увидел, чтобы он побледнел или покраснел... В каждом его редком движении, несмотря на прикованные руки, – спокойствие и невероятная внутренняя сила...

Я смотрю на наручники, которые сковывают его руки. Мне кажется, что, если он захочет,

он разорвет их легче, чем некий могучий силач рвет в руках колоду карт...

Четырнадцатый день допроса

Стоменов: – Противоположность, Сергей Дмитрич, великое чудо есть, но только и есть в этом каверза одна неявная. Было дело у меня, лет пятнадцать назад я долго с одним человечком разговор имел... Понравился он мне как-то, глянулся, ну я ему и поведал многое. Хранители не противились, человечек этот слухал меня на полном сурьезе с год, не менее. Да только оказия в этом вышла вот какая... Заноровился он, как и мы, Магом Смертным сделаться, и все указы мои исполнял в великой точности, да только и погубила его ретивость эта. Беды ваши многие, Дмитрич, от того выходят, что вещей неизмеримое количество понимать вы стремитесь с позиций – «черное иль белое» – и не иначе. Смотри, как выходит: если здоровье человек имеет крепкое, то силу большую он через хворь обретет. Есть и слово научное по поводу этому, не помню... Коли схворнул один раз, то потом уже и не заболеет ни в жизнь...

Следователь: – Иммунитет!

Стоменов: – Ну пускай и мунитет твой, спорить не стану. Но коли шибко нездоров ты будешь, то где Силу-то искать будешь, ась?

Следователь: – В здоровье получается?

Стоменов: – А где ж еще? Сила всегда там, где тебя нет, то бишь в противоположности твоей. Она, Сила энта, всегда ускользает от тебя, Сергей Дмитрич, и это надобно всегда помнить. Когда книги я разные читать удумал – ну, право слово, смех один: чего-то там поделай, да и магом огромадным станешь... Так не бывает, и ты это крепко попомни: куда бы ты ни встал – в том, что напротив тебя, всегда Сила большей будет, но как только ты противоположность пользовать начал – тады то, чем ты был и где стоял, усиление поимеет. Оттого и выходит, что путь единственный и непримиримый всегда слаб есть. Тот человечек, с которым я разговор имел, так этого и не уразумел. Силу он поимел, да только новым добрым Богом мнить себя стал, добро свое чинить настойчиво, да и вскорости злом уделался, если понятиями вашими изъяснение давать. Уделался – да так и остался, ну а исход здесь ясный имеется – погиб человечишко этот, так как дела ерепенился великие провертеть, а Силу свою порастерял вконец... Если, Сергей Дмитрич, казнь для людишек чинишь во блага великие государственные, то попомни – на казненных трех одного помиловать надобно пренепременно, а опосля – всем следующим трем преступникам милость дать и отпущение. Вот так Сила может быть большая государственная. Я это тебе открыто глаголю, но смутно, догадкою, это и так действие имеет: возьми времена послереволюционные – то, значит, террор красный, людишек толпами огромными в царство небесное отсылают, а то крестьянству да люду разному послабление большое идет. Иль то людев заарестовывают в еще больших количествах, а то амнистии всякие объявляют враз – все от того будет, что догадка есть о законах этих Силы Великой, да только пользование имеет случайное, догадочное, а оттого и выходит, что дело, плодным быть могущее, пустым выходит...

И вот еще что скажу, Сергей Дмитрич. Если ты в люду обычным просто более сильным стать хочешь, то пользуй средства, которые для целей твоих в оппозиции будут. Ну а если ты Силу великую заиметь желание имеешь – то своею оппозицией стань на какое-то время.

Слушай, Дмитрич, баечку одну – она еще не совершилась, но совершится через некоторое

время. Я тебе ее поведаю, а ты... Ну, твое дело будет... Объявится в России лекарь один очень толковый. Он деток лечить будет, и так дельно, как никто до него этого не делал. Да вот только случится с лекарем этим странность одна: потянет его этих самых деток убивать иногда. Сотням детишек хворь уберет, а одного сгубит потихоньку. Тянуть его к этому будет тягою непостижимой. Потом этого лекаря изловят и казнь ему сделают через расстрел.

Лекарь этот догадку свою смутную выскажет – да только не прислушаются к нему, а он примерное людям скажет, что я тебе говорю. Сила могучая в противоположности скрыта, и он эту Силу обрел случайно… Знаю, знаю, Сергей Дмитрич, не уложить тебе этого в головушке своей, да и другим объяснение дать не сможешь. Но только вокруг оглядку сделай, к вещам многим присмотрись внимательно – и уразумеешь, что моя правда будет. Возьми хотя бы

немца – вишь, какой миролюбивый стал, живет сыто, ни на кого зла не держит. Много ли толку будет, если удумает он реванш взять? Так я тебе скажу точно – никакого проку, а одна погибель и досада. Немец это чует, потому и миролюб такой сделался, противоположность свою обрел. Ну а век этот выйдет весь – гляди да меня вспоминай, опять немец зашевелится, ретивым сделается. Потому как хватит, Сила прошлая слабить начинает...

Вит Ценев

Противоположность – не противоположность, не знаю, прав Кривошеев или не прав, да только насчет немцев он не обманул. На дворе десятилетиями было холодно, была «холодная война», и мы все это время жили в неявном страхе, что когда-то война начнется, когда-то империалисты ее развяжут... Но на дворе 1996 год, когда я пишу эти строки, немец действительно сыт и миролюбив, имперских планов не вынашивает, и приходится признать, что это объективный факт. Кривошеев сказал, что еще до двухтысячного года постепенно начнется обратный процесс, но до этого еще четыре – шесть лет, не меньше...

А вот что за врача он подразумевал – я так и не узнал. Наверное, не было такого...

Примечание переводчика: Мне пришлось дерзко вторгнуться в пространство этой книги. Автор был поставлен в известность и дал добро на прямую ссылку. София, видимо, не очень интересуется известными преступлениями в России. Такой лекарь действительно существовал, это был известный детский хирург, доктор медицинских наук Алексей Сударушкин, казненный в 1981 году за половое надругательство и убийство детей...

Двенадцатый день допроса, 6 августа 1978 года

Стоменов: – Самым занятным, Сергей Дмитрич, то будет, что Магом Силы Смертной чаще всего люди сами по себе становятся. Я этим не то имею в виду, что Магов этих рыщет по планете неисчислимые тысячи, нет, нас мало, может, пятьдесят будет на землях всех, а может, и того меньше... А то имею, что науку эту преподаем мы исключительно редко. Вот я один разик попробовал, да только не вышло у меня, Никола одному науку полную дал, да еще одна, Никитовская Дарья, мужика одного в разумение привела великое... А так – семя Кривошеевское по миру ход имеет, вот иногда к третьему колену

плод ладный и делается. Никакой науки от нас он не ведает, а просто жизня его так укладывается, что приходит он к нам вольно или невольно. С ним, пока он еще хранителей не ведает, все равно они незримо рядом будут, от смерти его сохраняют и от калекства – но ни от чего более. Муки у него будут душевные и физические – пускай, трудности всякие и удерж разный – хорошо, потому как через это он к нам и прийти сможет. Мы этого нарочно не делаем, а так – само как-то все устраивается, как надо... Если не сдюжил такой из роду нашего, руки на себя наложить вздумал – то хранитель его никогда не остановит, потому как: чему быть – тому и быть. Был и другой еще, Кириллом звали, семя земель Алтайских, – да только не сдюжил он на году двадцать четвертом, ума лишился напрочь, как первый ваш докучник, который со мной калякал...

Следователь: – Суровые вы люди будете...

Стоменов: – Это если по-людски, по-обычному кумекать, то, может, и суровость есть, да только по нашим понятиям нету здеся никакого, о котором толкуете вы так много. Природности нашей земной – хоть Кирилл ентот в дом душевный попал, хоть муха на взгорке бзднула – никаких трагедиев не будет. Думаешь, слезу кто-то по нему пустил? Пустое все это... Родители его – те, конечно, убивались шибко, а нашему роду Кривошеевскому да Никитовскому – прок один, и ничего иного, потому как род крепок быть должон и слабости внутренней в себе не иметь...

Следователь (перебивая): – Стоп! Стоп! Секундочку, Андрей Николаевич! Это что выходит – если я ребенку своему кровь дал, чтобы его жизнь спасти, – я что, род свой ослабил?..

Стоменов: – Ты, Дмитрич, холм с горой не путай... Какой у вас род-то? Потеха одна... Семью царскую или больно знатную уразумей – нешто род силен их, если семя они друг дружке дают в строгости? Мы знание друг дружке передаем и Силу великую, а они? Богатства свои да чинства с лаврами – разве сильным этот род будет? Уважать его будут людишки мелкие – это да, да дохторов знатных нанять можно, чтоб пеклись о хворях их многочисленных... Вот и вся сила их худая...

У меня, Дмитрич, да и у каждого из Никитовских и Кривошеевских по девять хранителей будет у каждого. Мои Андрюши заботу имеют, чтобы со мной смерти случайной не вышло или еще какой оказии. Но даже случись так, что не смогут хранители тебе подмогу оказать, – неужто ты думу имеешь, что кто-то из рода нашего подсоблять мне будет? Никогда этого не случится, потому как все необходимое дано тебе родом твоим, и боле никто о тебе персонально не печется. Сгинул ты – никто не обрадуется, но и никто не закручинится, а выжить смог в минуту тяжкую, сдюжил – так ведь и тогда никто открытку проздравительную не шлет и поклон уважительный не бьет... Мы целое единое есть – и в то же время каждый сам по отдельности будет, так заповедовано, так наказано, таковы Законы наши... Ты только не подумай, что я могу вот так запросто людьми лихими в переулке убитым быть иль, положим, *под машину грузовую попасть насмерть*... Это я так, *для слова красного сказал*, чтоб ты, Сергей Дмитрич, меня уразумел лучше, но только не бывать такому в жизни нашей. Сами мы в царство мертвое уход делаем, когда время нужное настает, – и никому другому вместо нашего не сделать смерть семю Кривошеевскому...

Следователь (прищурившись): – А что, Андрей Николаевич, скажешь ты мне, если сообщу я, что бумага одна на тебя из Москвы прислана, где приказ имеется расстрелять тебя в ближайшие дни за преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами? А?

Стоменов: – Так нет у тебя такой бумаги, Сергей Дмитрич, и не будет никогда.

Следователь (задумчиво): – Верно говоришь, такой бумаги нету... Но ведь прийти может...

Стоменов: – Не придет, Дмитрич, как я это знаю, так и тебе это известным будет... А потому меня не испытывай понапрасну, потому как сердце у меня крепкое да уверенное, а хранитель всегда или рядом, или придет по моему желанию. Судьбы будущные я многих знаю наперед, а уж свою и подавно, да в превеликих точностях. Только семя третьеколенное Кривошеевское или другое чье редкое, случайное, которое на пути к Магии Силы Смертной находится, сгинуть может, потому как не удержит, не сдюжит. Но если удержит и Магом станет – только своею собственной смертью умрет – и никакой другой...

Восемнадцатый день допроса

Стоменов: – С вами, такими учеными да начитанными, больно ой как не просто разговор весть. Говорю я тебе, Сергей Дмитрич, многое, а сам чую – если б ты вовсе не понимал, о чем толкую я, то и ладно, да вот только ты на свой манер все разумеваешь. Разъяснять мне скушно, да и горя не будет, если ты так и не уразумеешь ничего... Мы, Кривошеевского рода, не спорщиками будем, как многий люд ученый, а умельцами – хошь узнать если, то я поведаю, а твое своим сменять надобности не имею.

Ты вот со мной чего речи уважительные ведешь, а? Знаю, Сергей Дмитрич, знаю. В секретах предполагаемых нужду имеешь великую. Про шапку-невидимку говорил я? Говорил. Как хвори многие одолеть – говорил? Говорил. Как Силу Великую обрести – сказывал? Сказывал... Но только я многое уже сказал, а тебе все мнится – что вот-вот, еще чуточку – и я, глядишь, какой-никакой, а секрет тебе перескажу. Но говорю – многое поведано, да малое принято.

Нешто мне Никола, ты думаешь, сказывал, как до деревни своей добраться, когда в лес меня отвел, ослепил на время да и покинул? Как от зверя отбиться, как ориентир сообразить, как с голоду и жажды не помереть? Ничего из того не было сказано, а только бросил он меня в лесу – а я ему благодарен остался, потому как выжил и науку великую поимел... Ишь, как у людев все просто выходит: ты сказывай, а я исполню в точности. А ты пойди, как в сказке, туда – не знаю куда, да еще найди кое-что – тогда или Магом сделаешься, или разум утеряешь, или сгинешь вовсе... (следователь барабанит пальцами по столу). Есть карты одни для гаданиев – так вот, там первая карточка будет Маг, а последняя – дурак (имеются в виду карты ТАРОТ. – Примечание автора).

Ты, Сергей Дмитрич, не серчай, я тебе не для того это говорю, чтоб обиду тебе сделать, а лишь потому, чтоб слово мое проком тебе было, а не обузой...

Когда удерж я познавал голодом, сна лишение надобное, слово вслух не проговаривал да сдюживал тяги плотские – нет, не о том я думу имел, что, мол, удержусь да и стану Магом великим. Если ты за мыслею этой вслед пойдешь, то, конечно, сдержаться можешь, да только проку от этого будет негусто. Роду же Кривошеевскому да Никитовскому наказано было – удерж познавая, Силу в этом найти сумейте... Найдешь – не найдешь, дело

хозяйское, бранить никто не станет, да только старайся все же найти ее. Коли не вышло, сорвался – всегда повтор можно сделать, да вот только хуже будет, если удерж имел, но Силу там не обнаружил. От того и выходит – чуешь, Сергей Дмитрич, – что удерж чаще всего есть цель, а важность вся – перетерпеть, и не более, но для нас до конца дойти не главное будет, а главное – найти пользу великую в процессе ентом. А посему и получается – мается баба весом грузным и голод несет справно, потому как шепнули ей на ушко, дескать, поголодаешь, так и похудеешь враз. Только баба эта дни свои удерживает, а сама – как грузной была, так и есть. Вот я и ведаю – если денькам счет ведешь, ждешь только, когда удерж твой закончится, то и Магом не сделаешься.

Следователь: – И впрямь, как в сказке про «Поди туда...»

Стоменов: – Когда мне девять лет было, или около того, игрались мы во дворе в полдень, а тут мамка моя приносит нам пирогов печеных с капустою. Каждому из ребят по пирогу вышло. Разобрали мы их, а они горячие больно, руки еще жгут... Пока я свой остужал, один из старших свой проглотил – да и хвать мой из рук – и бежать… Я, помню, заревел и за ним погнался, а навстречу мне Никола подвернулся с волком своим. Волк подле него семенит, пасть щерит, но глаз у него незлой. Никола мне допрос учиняет, пошто, мол, ревешь и чем обижен будешь, ну я ему все и выклал как на духу. Несправедливо, говорю ему, нечестно Федька наш со мной поступил. Думал, он за меня заступится. А он меня – цап! – за ухо, да больно так – и в лес поволок. Я ору дуром, слезами заливаюсь, да тут он ухо мое отпустил и толкнул меня легонько. Упал я на землю, головой тряхнул, слезы утер – гляжу: нос к носу лежу с муравейником огромным. Мураши снуют тыщами туда-сюда, в глазах мельтешат... Тут мне Никола и говорит: «А ну, Андрюха, кажь мне на муравейник ентот – увидеть хочу, где справедливость в ем обитается...» Посмотрел я на него, потом на муравьев опять поглазел: «Дядь Никола, дак это ж мураши!» – «Ну дак и что ж с того? Справедливость, Андрюха, – она или везде, где только можно, или нигде вовсе. Вот заляг здесь – и гляди в оба: как только справедливость учуешь, так беги ко мне в дом, что есть мочи, и докладывай. Растолкуешь мне все, как следует, тады я твою беду поправлю так, как захочешь... Ну а коли не найдешь справедливость енту – тогда, видать, и нема ее вовсе на белом свете... Но все равно доложи». Сказал – да и ушел восвояси, меня одного оставил. Глазел я, глазел, как мураши эти, значит, между собой организуются, но так никакой справедливости и не углядел...

Следователь (с досадою): – Ну и сволочь этот ваш Никола, ты уж извини меня!

Стоменов (спокойно): – Отчего же так, он мне правду показал, а я ее усвоил. Пришел я к нему опосля, а он

допрашивает: «Ну как, Андрюха, учуял справедливость природную?» – «Учуял, – говорю я досадливо, а сам чухаюсь, всего покусали мураши треклятые» (следователь улыбается). Дает он мне пряник медовый, видно, с ярмарки привезенный, говорит так серьезно: «Удержишь, Андрюха, если кус свой, против Федьки устоишь – так енто справедливость и есть, а коли не удержишь – так тоже справедливость выходит». – «Как же так, дядь Никола, – спрашиваю, – получается, что кус имею или не имею, а все одно по справедливости?» Только он ничего больше не сказал, а во двор меня вытолкал.

Следователь: – Ну как, не отобрал Федька пряник?

Стоменов (блаженно улыбаясь): – Не-е-а... (помолчав немного). Вроде и невелика наука будет, да только на всю оставшуюся жизнь крепко ее я запомнил. И вот еще чего сказать тебе желание имею: люди это так, для удобствов своих, магию то на Белую да Черную поделили… Магия – она магия и есть, не черная, и не белая, и не какая другая. Она ни цвету не имеет, ни добра или зла, а только лишь в силах разницу. Называющих себя магами много будет, да немногие магами являются... И если, по представлениям вашим, маг черный только черное творит – ни в жизнь ему более сильным не быть супротив того, кто и белое тоже деет. И белый без черного тоже слабоват будет...

Следователь: – И здесь выходит, что сила в противоположном?

Стоменов: – Сила в противоположном – и ты, Сергей Дмитрич, завсегда это помни. Когда инквизитеры эти (инквизиторы. – Так в тексте, примечание переводчика) неверных жгли, то и в Силу вошли великую. Чистая добродетель слабит, хотя многие людишки ей поклоны бьют. Зло исключительное слабит, даже если страх большой вокруг себя сеет. Оттого и дохтора этого, который детишек изводил по нужде необъясненной, – не только понять можно, но и в пример показать, как это делается… Зря гримасничаешь, Сергей Дмитрич, я верно калякаю, хоть и непросто принять будет науку мою...

Кристо Ракшиев (рассказывает, диктофонная запись)

...Тринадцатого августа следствие неожиданно объявило перерыв. Мне позвонили домой и сказали, что на ближайшие три дня допрос отменяется. Двое из советских подполковников улетели в Москву... Наверное, ожидается какое-то распоряжение. Исход просматривался один: Стоменову – Кривошееву осталось здравствовать на этом свете считанные дни, а то и часы. В лучшем случае – пребывать в трезвом уме... В субботу, двенадцатого августа, полковник был, как обычно, спокоен и невозмутим. Может быть, он не был удовлетворен результатами того, что он делал, но, во всяком случае, живой интерес сохранял. Даже начал делать в маленьком блокнотике какие-то пометки. Насторожило меня и то, что их беседы параллельно со мной начали писать на пленку. Громоздкая система, рассчитанная на двадцать часов непрерывной записи, медленно крутила свои бобины. По завершении «сеанса» бобину снимал и пломбировал дежурный офицер. Я заволновался – это означало только то, что московское следствие избавляется от свидетеля – от меня. Воскресный звонок окончательно убедил меня в этом. Дело явно близилось к какой-то развязке. Я мучительно, раз за разом, прокручивал в голове последние дни допросов, уже перенесенных мною на бумагу, – и не находил никакой зацепки... Все как обычно, как это происходило изо дня в день. Меня лихорадило, казалось, я полностью утрачиваю даже то смутное понимание происходящего, которое у меня было… Однако в полночь мне позвонили снова и попросили прийти в понедельник как обычно.

Я: – Послушай, говорю чушь несусветную – сразу предупреждаю! Но так выходит, что по загадочным обстоятельствам допрос, на котором ты не должен был присутствовать, не состоялся. Возможно, это не случайно вышло...

Кристо (закуривая): – Тогда у меня не было таких мыслей. Я упорно держался мнения о том, что первую скрипку играет московский следователь. Мне казалось, что он один понимает всю суть происходящего, знает конечную цель, к которой ему нужно прийти, – и идет, идет своими неведомыми тропами... Много позже я подумал о том, что ты говоришь, – ОН не хотел терять ни одного дня без меня, ЕГО слушателя. Возможно, принял какое-то решение... Об этом не скажешь по содержанию, но, черт подери, посмотри на мои писульки! Они стали другими! Я стал писать без рывков, выдавать большие обьемы! (бьет кулаком по столу). Чертов мудак! Он крутил всеми нами, крутил как хотел! Травочки ему

заваривают! Водичку морозят! (срывается на крик). Мемуары пишут! Что он сделал со всеми нами, а? Скажи мне! Скажи мне – ты, писака!..

Я: – Кристо! Кристо! Успокойся!..

Кристо (закрывает лицо руками и так сидит молча некоторое время, я тушу тлеющую сигарету в пепельнице, затем он, тихо...): – Прости... Не знаю, что на меня находит иногда... Раньше я тешился тем, что показывал миру фигу в кармане. Теперь же – я проклинаю этот мир, я захлебываюсь в воплях своей ненависти, которую я на него изливаю… Я не знаю, что со мной...

Я: – Мир не так уж плох...

Кристо (отнимает руки от лица, искоса смотрит на меня): – Да?.. (Закуривает). А какой он, этот твой мир? У меня два мира – тот, который у меня был, и тот, что ОН мне показал... Я не знаю, какой из этих миров правильный. И это меня убивает, убивает, Вит, понимаешь?..

Двадцатый день допроса, понедельник 14 августа 1978 года

Стоменов: – Одним из самого важного будет, Сергей Дмитрич, даже не мир этот, но то воззрение, с каким ты на мир этот смотришь. Потому как мир един, а воззрениев этих неисчислимые количества будут. Когда тебе делают больно – ты начинаешь считать, что обустройство мира крайне несправедливо и жестоко – нет, не по отношению к тебе, а вообще, само по себе... А когда тебе ничего, то и миром окружающим удовлетворяешься. Но на земле происходящее не может быть таковым, как это ощущается тебе в минуту настоящую. Это – всего лишь чувствование твое в какую-то малую секунду, и оно не имеет к миру земному никакого правдоподобного отношения.

Послушай теперь меня, Дмитрич, – ты все еще ждешь, что ответ я тебе дам с объяснениями, пошто девчонку эту жизни лишил. Я чую, что ты меня слушаешь, я чую, что ты меня слышишь иногда, но только иногда, а то и реже будет. Что еще сказать, если сказано уже?.. Ни тебе, ни другим некоторым эта мысля покоя не дает – ведь мудер мужик, воистину мудер и говорит справно, но девку, девку-то зачем, а!? А ведь ведал я уже, Сергей Дмитрич... Слухай еще разок, коли не почуял. Не могем умереть мы смертию своею, вот так запросто, как человечишко обычный смерть заполучает. Время подходит, а смерти не предвидится: ни случай досадный жизнь не оборвет, ни хворь внезапная. Уходить во время наказанное надобно, а как уход сделать верный? Дак проводник тогда нужен в царство иное, в царство мертвое, в царство смертное. И если жизни человечишку какого лишишь с умыслом намеренным, особенно магическими средствами попользовавшись, – и станет душа умершего этого проводником тебе в Мертвое царство. Руку тебе протянет – да и с собой уведет покойно, неотвратимо. Девчуха эта для того жизни лишена была, потому как уход мне предстоит скорый, Николой наказанный да хранителями моими верными...

Следователь (глухо): – Значит, собрался все же помирать, Андрей Николаевич?

Стоменов: – Я про девку сказ веду. Али интерес потерял? Впрочем, понял иль не понял – дело твое, мне без интересности... Как говорю тебе – тысячи и тысячи мировоззрениев

будет всяческих, и спор иметь за истинность свою – только зазря жизнь свою истратить, пустою ее сделать. Оттого и не переубеждаю я тебя ни в чем: хранитель сказывал – говори, вот я и разговор с тобой веду. Помнишь, что говорил: имею пряник, дак это справедливость, а не имею – тоже справедливость выходит. Убил девку я – от миру не убыло, а сохранил бы жизнь ее – дак в мире тоже не прибавится. Если это уразумеешь, Сергей Дмитрич, – остальное тоже вместишь в мере полной.

Следователь (после некоторой паузы): – Значит... бессмысленно все, да?

Стоменов: – Фу ты, ну ты! Заговорил чего, а... Жизнь проживи для тела и ума своего хорошую, славную, долгую да удовольственную, вот и выйдет – и на земле хорошо было, и в Царстве мертвых ладно. А там, в царстве этом, – равны все будут, ни чинов, ни богатств, ни наград не имеют – но муку или радость вечную каждый сам себе отмеряет еще прижизненно. Никакого тебе, Сергей Дмитрич, суда и сковород горючих – сам ты себе сковорода или сад райский выйдешь. Жизню свою посвятил если стремлениям к братству всеземному – то, к чему там, среди душ умерших, стремиться будешь, если равны там все будут без всяческого твоего участия? Аль коммунизму вашему? Аль сатане тайному, которого и глаз никогда не зрел? Тело, дух и Сила твои – вот отрады земные Великие, и нет ничего значительнее их на земле этой. Не для мира, Дмитрич, – но для тебя, только для тебя одного – и никого больше!.. Это не есть смысл по понятиям нашенским, Магов рода Кривошеевского, но по вашим, людским, – дело говорю – таков смысл и есть... А почему – не для мира, а для тебя единственно – дак, уразумел поди уже – нет миру от тебя ни радостев, ни горя. Живешь ты на свете белом добро али худо – ни звездам, что на небе светят, ни жуку, что в куче навозной копошится, ни белке, что по деревьям скачет, – без интересу существование твое. Упал в бессилье если подле дома мурашиного – вот им и отрада, обглод сделают тебя до последней белой косточки, а если просто рядом прошел – то и дела им нет. Вот и наука вся, Сергей Дмитрич.

Тело свое вожделением страстным ублажай, питайся справно и правильно, храм тела твоего береги, сигарок не ведай и лекарствов, которые разума лишают. Силу имей надежную, верную, стержень внутренний крепкий – тогда и суетное многое сгинет навечно, по-пустому печалиться не будешь почем зря... Говорить это Магу будущному я не должен – сам все постигнет в пути своем, но тебе, Дмитрич, уж не обижайся на старика, – не стать магом уже... Но Силу немалую приобресть сможешь, если вместишь и поймешь, – для того и ведаю.

Следователь: – Стать одиноким эгоистом?

Стоменов: – Ишь, словечко вымолвил... Сколько еще их знаешь? Тысячу? Десяток тысяч? Все-то у вас название имеет... Пошевелил я правой ногой – глядишь, уже и слово новое придумали. А рукой дрыгнул – еще словечко вышло. Скажу я тебе, Дмитрич, вещицу одну важную. Помнишь, про Степана я тебе ведал, который дедом истинному семени Кривошеевскому приходится? (следователь кивает головой). Так вот, уяснил для себя Степан мудрость одну, когда в концлагерях сидел немецких. Заборов много придумано, которые из слов одних сплетены, – того не делай, этого не трожь, не убей, не ходи, очень плохо и много еще других, – да только всего лишь один забор неодолимый взаправду существует. И знаешь, какой? Да та проволока с колючками, по которой электричество пропущено... Только она и есть забор истинный, а все остальное – слова пустые, и ничего более...

Не думай, Сергей Дмитрич, что если ты слово особое для каждого явления в мире этом придумал, то и мир, значит, понял доподлинно. Детей интересует, почему звезды свет

дают, вас же – как они называются, и если нет еще названиев у них, то придумать их надобно пренепременно. А то выдумали – коммуна, братство... У нас, Кривошеевских, с волками лесными уговор имелся – вы нас не трогаете, а мы вас. И никакого тебе братства и равенства...

Двадцатый день допроса

Следователь: – Я вот что спросить хотел у тебя, Андрей Николаевич. Существуют ведь очень распространенные представления о том, что человеческая душа, дух, духовная суть его – даже не знаю, как сказать лучше, – в общем, происходит перевоплощение духа этого из одной телесности в другую. Но вот тебя я слушаю, и получается обратное. Как же выходит тогда? В теле земном толику малую живешь, а в загробном царстве – так вечность целую... Неправдоподобно получается...

Стоменов: – Ты вопрошаешь, а я ответ даю. Нравится тебе это аль не нравится – досуг твой будет, мне твое своим подменять без надобности, я уже сие говорил как-то. Если спрашиваешь, то слухай да кумекай, Сергей Дмитрич... (после некоторой паузы). Есть людишек неисчислимое множество, что страх перед смертью будущной великий испытывают, но о существовании своем после смерти особо не пекутся. Они могут веру иметь в господа Бога, в судилище Божие иль еще во что-нибудь, по вере своей грех иметь с регулярностью, да и замаливать его в церквях и у людей специальных, которые по греху этому прощение, значит, выдают. Только попомни меня: когда уйдут они, умрут, тело немощное свое покинут – обнаружится, что не будет суда божьего над ними, ни рая не будет и ада, но только сладость или муки в них самих уже полностью содержатся. И если ты, по разумениям общепринятым, ни единого греха не сотворил – нет надежности и тогда, что благостным твое проживание в царстве смертном будет.

Есть люди другие, которые не особо верят ни в богов, ни в чертей, а жизнь земную стремятся прожить наисладчайшим образом. Им более худо выйдет, чем первым, потому как, дух свой услаждая миром материальным, обречены они по смерти тоску принимать бесконечную – и ничто ее в мире ином утешить не сможет...

Есть третьи люди множественные, что отрешенности от всего земного достигают или стремятся к этому. Им, Сергей Дмитрич, много лучше вашего будет, кто за братства планетные борьбу имеет да коммунизмы строит, ты уж не обидься, что ведаю так... (следователь пожимает плечами). Путь их не лучший на земле нашей, но для послесмертного существования ихнего вполне справным будет. Вполне достойно по такому пути шаг держать...

И есть мы, Род Кривошеевский, да и еще имеется людей число невеликое, кто смерти и часа смертного не боится и поклоняется ему, кто готовит себя к существованию благостному в царстве ином. Четверть жизни нашей – это удерж разный, духа своего воспитание, к Силе смертной обращение и торжество бестелесное. Все остальное же будет жаждой жизни в мире земном. Это радость телесная будет, здоровье тела и органов твоих, взаимодействие с природой – травой и деревами, птицами, зверьем разным... Это ясность ума, переживание Силы великой и то главное, о чем говорил я уже ранее, – Невраждебность взаимоотношения с миром окружающим. Дорогу нашу, Дмитрич, сдюжить смогут очень немногие в полной мере, но даже если стремиться к этому всего

лишь, то радость существования своего бессмертную обресть можно. Тело временно смертно, тленно, радостность духа твоего окончания не имеет...

Всех тошнее, скажу я тебе, в царстве ином самоубийце выходит. Никакой это не грех, как говорят многие, а только лишь себя повечное наказание. Самоубивцы толпами по земле нашей ходют, от жизни земной Силы жаждут взять хоть крупицу, да выходит у них это в большой редкости... Отрада тому самоубивцу, кто к Магу Смертному в послужение идет, потому как муки его многие гинут тогда бесследно. Но такое, как ты уразуметь можешь, Сергей Дмитрич, бывает каплею в море тех многих, кто жизни себя лишает. Муки у них бесконечные выходят, а помочь им в силах очень немногим дано... И еще скажу – помнить надобно, что на земле мы разными можем быть, но *Там* – равны все будем в бестелесности своей. Никто ни над кем власти не имеет, все равны, все одинаковы будут. Если сын за юбкой материнской волочится, то там она ему без надобности будет, если отец за жизнь сына свою жизню пожертвовал, то там и раскается, да поздно выйдет. И здесь, и там пути очень тонкие выходят, порой друг от друга на глаз торопливый неотличимые. Но когда смерть придет, то и отмер получится – ладно выходит, аль тошно. Всю эту науку вряд ли мне растолковать, Сергей Дмитрич... Лучше тебя самого судьбу твою никто не явит в подробностях.

Следователь: – Нет, значит, перерождения? Умру – и навечно?

Стоменов: – Нашел, о чем горе тужить! Радоваться надо, что таково, и не иначе. Сам рассуди – если Бог законом и выходит, то какая нужда ему устраивать, чтобы ты духовность иль там хуманизм из жизни в жизнь в себе приращивал, а он, значится, ждал бы тыщу лет, пока ты прирастишь ее в полной мере, а? Нет, Дмитрич, жизни короткость или долгота, счастливость или досада, а опосля – царство сладостное аль тошное – в испытании дается всего раз один-единственный. Торопись жить хорошо и умереть справно, потому как других возможностей ошибочность свою исправить не будет тебе уже никогда...

Восемнадцатый день допроса

Стоменов: – Разбрелись мы, Сергей Николаевич, по миру таким образом, каким Никола велел, а опосля – как хранители наши указывали. После того как деревеньку нашу забросили, Кривошеевку, да деток обузных схоронили – уж никто больше никогда друг с дружкой не видывался – и не увидится вовек... Разговор мы между собой сколь угодно долгий вести можем – и только. Это как будто ты по телефону калякаешь, а в очи собеседнику своему взглянуть не дано тебе навсегда. Все мы люди простые будем, неприметные. Никто из нас министром не сделался, богатств несметных не нажил, наград государственных не получал. Как я жил, так и остальные живут, по земле этой разбросанные: живут тихо, покойно, людям окружающим до нас нет дела никакого... И как только человек новый, достойный, к Магии Смертной приобщение имеет – так и уходит тот, кто в землях близких с ним, в Царство

Смертное. Новый человек этот заместо умершего Мага остается...

Нас немного будет на свете этом – и никогда количество это большим не выйдет. Новый человек чаще всего семени Кривошеевского будет. Так уж получилось, что Никитовские

одни бабы и остались – и коли чрево ее плод вынесет, то крепок собою и духом силен станет человек народившийся, и только. Но лишь из семени третьеколенного Кривошеевского Маг новый Силы Смертной народиться сможет... А для этого, чуешь, Сергей Дмитрич, надобно, чтоб во всех трех коленах парень обязательно был. Уродилась девка если – все, оборвалась ниточка... Да вот, иногда еще, человек семени иного, случайного, к нашему роду приобщение имеет. Редко это бывает – да бывает все же. Не только кровью мы роднимся, но и Силой особенной, и если есть эта Сила у человека некоторого – нашим он будет неотвратимо. Ну и еще наш род двоим людишкам пути случайного науку полную дал. Таким род наш будет магический. Много позже несметное число людей земных к таинствам Силы Магии Смертной приобщение иметь будут. Это когда Никола новый в Силу свою истинную войдет... Магом из них никто не сделается или – почти никто. Но силушка станет у них – Сила и умение, и этого достаточно будет, чтоб сделались они людьми светлыми.

Попомни вещь одну, Сергей Дмитрич, важную очень вещь. Так уж природой заповедано, что враждебность мира окружающего самому миру совершенно необходимой будет. Каждая жизнь, малая или большая, травинки или льва могучего, на борьбе построена за существование свое благополучное. Борьба эта живое сильным делает – вот почему зверь лесной болеет исключительно редко, а то и не болеет вовсе. А вот собачка комнатная аль животина домашняя – те часто хворь знают и дохнут во множестве от этих хворей разных. У человека врагов уже нет в этом мире, действительным царем он сделался на планете сей. Но вопреки природе не сможет идти даже он – вот и выходит, что одни цари убивают других царей таких же в количествах неисчислимых без особой нужды и поводу. А почему? Так силен закон этот, сильнее его только мертвое и будет, а кто жив и жить хочет, кто род свой продолжить хочет надежно – следовать ему вынужден. Много у вас назиданий государственных да изречений церковных – мол, не убий, да не злобствуй, не ненавидь и не ударь. Но века проходят – а все остается на местах своих... Ярость, ненависть, убийства большие и малые. Не пойми превратно, Дмитрич, природе нужды нет в убиениях – но борьба ей надобна, потому как основа это успешного выживания и силы... Ну а чудо если выйдет, прекратятся вмиг все убийства да войны – что думаешь? Полста лет не пройдет, как сгниет человек в хворях превеликих или разум утратит, безумным сделается...

Следователь: – Ну и мрачна же твоя картина, Андрей Николаевич!

Стоменов: – Я верно говорю – и ты меня понимаешь, я это чувствую. Как войны затевать по миру огромному – так вроде бы само собой разумеется, а как подумать, что это по закону природному неотвратимым будет, – так и страх обуял. Знаешь, Сергей Дмитрич, я с животными разными разговор вести умею – знаю их чаяния и думы: так вот, скажу тебе, что много лучше будет животное любое человека, царством своим гордящимся. Животная – она светлая, словно ребенок будет. Но сказал – истинно царь человек на земле этой, нет у него врагов, вот и в самом себе нашел он врага великого... Велика Сила его может быть, если с разумением ко всему подход иметь. Человек Силу обретать может в противоположности своей, что волк делать не умеет, даже если хотеть будет страстно. Главное – науку понять, как с законами природными ужиться, им не противословить...

Следователь: – И как оно все выйдет тогда, если по-твоему следовать?

Стоменов: – Стаей огромной враз маловозможно уразуметь науку эту, потому как лишь вражду еще большую посеет она. Выйди я на широкую площадь да скажи все слова свои заветные громогласно – кто, как думаешь, в горло мне первым вцепится намертво? Дак те

и будут, кто братственность да любовь всемировую проповедуют... Хошь – не хошь, а такая вот выходит оказия. Шепни им на ушко, дескать, ребеночек малый слезу голодную роняет, так они кровью поля зальют, чтоб ребеночек, значит, не кручинился. Оттого никогда и никто в роду Кривошеевском да Никитовском науки нашей не ведал прилюдно, а лишь иногда человеку отдельному сказывал, как я с тобой разговор имею. По отдельности человек уразуметь сможет, но разом все – никогда, потому как крови будет много, и ничего больше... (после некоторой паузы). И если ты, Сергей Дмитрич, прозреешь, что нет на белом свете ни добра, ни зла, а есть белый свет этот один и Мертвое Царство опосля для каждого из нас, то мир посему чуточку вернее сделается. Отчего так? Так ведь уразумеешь, что потребу природную удовлетворяешь ты – и ничто другое! За благость людскую битву ведешь, за мир во всем мире сражаешься, аль позицию свою ученую отстаиваешь – все едино. Маг рода Кривошеевского отличие от любого другого люда в том имеет, что не добро на сердце его, а Невраждебность к миру окружающему. Услышь накрепко слово это, Сергей Дмитрич, – НЕВРАЖДЕБНОСТЬ!

Не злостность это и не добродетель, а очищение сердца своего от переживания вражности других, от страха, ненависти и озлобления... Маг Смертный не тратит жизнь свою попусту в борьбе вечной за одну из идей, которых на земле неисчислимое множество. Три надобности его главных, как звезды яркие, ведут его. Первая – это обессиливание врага своего случайного. Намеренных врагов у нас не было никогда, а случайным мир всегда полон. Оттого не делаю я разрушений и не гублю живое, против меня поворотившееся, – я лишь силу у него отнимаю, бессильным по отношению к жизненности моей делаю. Второе – тело и разум свой содержать в чистоте и удовлетворенности. Телу здоровое существование надобно, питание и питье разумное, утехи плотские и ум ясный, потому как последнее многим хворям порождения не дает. Третье же – Сила великая, дух степенный и радость жития бестелесного. Первая звезда трудов великих стоит и дается не всем, но если дается – то на всю оставшуюся жизнь беречь тебя сможет. Второе союзом разума и тела обретается, невосприятием всего пустого и суетного, а главное – торжествованием телесной жизни твоей в мире этом. Торжество тогда наступает, Сергей Дмитрич, когда радует тебя

не то что цветочек красивый увидал ты да умилился, а когда запах его вдохнул, мягкость его руками почуял. Женщина красива да желанна та выходит, что перед тобой стоит, а не та, что по телевизору кажут. И третье для того имеется, чтобы Силу, в науке Магической усвоенную, укрепить и упрочить, да умирание будущное принять легко и столь же легко в мертвом царстве существовать бестелесно. Помнишь, что ведал я тебе? Когда в мире этом, то с мертвым будь близок, тогда и после, напротив, рядом с живым будешь вечно и безмятежно...

Ни чинов у нас на земле этой, ни богатств несметных, ни семей и друзей – не было, нет и не будет никогда, хотя и обратное не возбраняется. Сам все выберешь, сам сполна все себе и отмеришь – и здесь, и там: светлость бескрайнюю или муки неотступные. Если и есть Бог среди звезд дальних, то не судить ему нам ни сейчас, ни опосля – он лишь законы положил, а суд каждый над собой сам вершит по законам этим...

Кристо Ракшиев (дневник)

Я пишу эти строки, а на календаре среда, шестнадцатое августа 1978 года. Я лишь

приблизительно, будучи более-менее осведомленным человеком в нашей конторе, могу восстановить последовательность происходящего. В третьем крыле, где тринадцать палат и где Кривошеев занимал палату номер тринадцать (черт возьми, тринадцать!), утренняя проверка производится в пять часов утра. Санитар, он же охранник, заглядывает в окошечки к подследственным... Все, кто в третьем крыле, все они – еще вполне нормальные люди. Их еще не пичкали таблетками, не кололи черт знает что, к ним проявляется интерес, их допрашивают, их разум оставляют ясным до тех пор, пока есть необходимость или надежда получить определенную информацию... Их палаты являются причудливой смесью больницы и тюрьмы. Прочные двери и засовы, особая планировка, при которой больной не сможет найти того места, где его не будет видно, когда санитар заглядывает в окошечко из сверхпрочного стекла. Решетки на окнах, обязательный неяркий свет ночью, достаточный для того, чтобы видеть всю палату... Тихая гавань для персонала... Можно спать или играть в шахматы всю ночь...

В пять часов утра санитар обошел третью, восьмую и тринадцатую палаты, остальные пустовали... Кривошеев спал, и санитар насторожился, потому что в это время подследственный уже всегда бодрствовал. Его не пристегивали наручниками к кровати, как, положим, пациента из восьмой палаты, и он с четырех часов утра сидел, прислонившись к спинке кровати, – то ли медитировал, то ли... Одному Богу известно, что это за ритуал такой... Санитар пригляделся, и ему показалось, что Кривошеев дышит. Значит, просто спит. Это его успокоило. В дальнейшем расследование показало, что подними он тревогу немедленно – результат оказался бы аналогичным: Кривошеев был мертв уже час. Вскрытие ничего не обнаружило… Остановилось сердце. Абсолютно здоровое сердце вот так взяло – да и остановилось.

В половине седьмого, совершая обход второй раз, санитар поднял тревогу. Поздно, слишком поздно... Говорят, черты его лица расслабились, выражение его было совершенно спокойное, блаженно спокойное...

Мне так больно, будто я похоронил очень близкого для себя человека... Невозможность увидеть его лицо, услышать его голос рвет мне душу на части. Я просыпаюсь, обнимая подушку, мокрую от слез... А когда он приходит ко мне во сне – у меня носом идет кровь. Я размазываю ее по лицу и постели...

Я слышу голос его в своей памяти... Я вижу его во сне – и это все, что я имею.

Я пережил невероятную гамму чувств – от обожания до ненависти, я сходил с ума и обретал здравый смысл, испытывал восторг и нечеловеческий страх... Но теперь, когда его нет, я не чувствую ничего, кроме боли и отчаяния...

Иногда он казался мне мудрым и сильным – таким, каким я всегда представлял своего отца, – он мнился мне отцом, и я задыхался от любви и восторга... Но память, она язвительно напоминала его монолог о том, как дети, деревенские дети перед исходом кривошеевских из деревни были передушены с той самой досадой, с которой топят ненужных народившихся котят... И тогда...

Откуда мне взять силу и мужество вместить в себя все это?..

Он знал, что умрет, знал совершенно точно – и спокойно шел к этому, не испытывая страха, сомнения, отчаяния. Я думаю, он не просто знал – он сам это сделал... Сам остановил свое сердце. Он ждал своего часа – и этот час настал...

Кристо Ракшиев (говорит)

Мне больше нечего рассказать тебе, друг мой. Я закончил писать все это еще тогда, в том самом 1978 году, который перевернул всю мою жизнь... Когда я закончил, я понял – главное сделано. Теперь, когда я говорю тебе эти слова, я чувствую себя человеком, все уже сказавшим, но еще продолжающим говорить неслышные для других слова. Нет, не потому, что я хочу, чтоб ты их услышал, – скорее всего, я совсем не хочу этого. Я говорю для себя, от этого приходит блаженное ощущение исполненности задуманного...

Я окончательно потерял свое тело – я сохну от наркотиков, курева, бессонницы, постоянного нервного перевозбуждения. Посмотри на меня, скоро я подохну – я знаю, что скоро, не надо махать руками, делать сочувственные глаза, говорить утешительные слова... Знаешь, сейчас мне абсолютно наплевать, получится у тебя или нет, напишешь ты книгу или не напишешь.

Рукописи не горят, так ведь? Не горят… Подай мне сигарету, вон на окне пачка валяется… О, черт, последняя!.. Сообразишь пожрать чего-нибудь, пока я до киоска схожу, идет? (я молча киваю).

И вот еще что... (закуривает). Поищи ты этого полковника. Ну не мог он под землю провалиться, так ведь? Он знать может много больше моего... А я – я все сказал. Все, все, пошел за куревом...

Вит Ценев

Глупо, конечно... Но это были последние слова, которые я услышал из его уст...

В настоящее время автор этой книги работает над ее продолжением, куда войдут некоторые, не опубликованные в первой книге монологи и комментарии, а также планирует привести все вышеизложенное в некую систему, которая может быть представлена для детального изучения тем людям, которые считают себя компетентными в магических науках.

Автор убедительно просит откликнуться любого человека, кто владеет какой-нибудь информацией о деле Андрея Николаевича Кривошеева: будут с благодарностью приняты не только случайно или преднамеренно сохраненные официальные документы этого дела (копии протоколов, стенограмм, телефонограммы, инструкции и прочее), но и косвенные свидетельства или устная информация, которой может располагать кто-либо из бывших работников КГБ СССР, служителей архивов и так далее...

Автор не совсем уверен в том, что ныне живущие Маги Кривошеевского Рода сочтут нужным сообщить ему о себе и своем Учении какую-либо дополнительную информацию, способную помочь автору в написании продолжения этой книги. Если же это произойдет, он готов выехать в любую точку земного шара для встречи с любым из них.

Автор в полной мере осознает всю щепетильность и специфику работы органов государственной безопасности, осуществляющих специальные операции и мероприятия, которые могут не соответствовать официально принятым нормам морали и права. Поэтому он по первому требованию сохранит любую степень конфиденциальности как предъявляемых ему сведений, так и самого лица, эти сведения передающего.

Во избежание недоразумений автор убрал все спорные комментарии и монологи, которые, по его субъективному мнению, косвенно или явно затрагивают интересы национальной безопасности России. С другой стороны, автор готов публиковать любые имеющиеся в его распоряжении материалы этого дела под поручительство авторитетного лица, что вышеуказанные интересы не будут затронуты…

Автор также сообщает, что данная книга публикуется на территории Российской Федерации и, по крайней мере, в течение пяти лет после ее выхода не будет опубликована вне пределов Российской Федерации и ее правовых субъектов.

Вит Ценев

Протоколы колдуна Стоменова

Часть 2

– Я объясню тебе. Я не знаю, сможешь ли ты постичь сказанное мной, но я знаю, что это для меня не имеет никакого значения. Ибо говорить мне и быть услышанным тобой – оно и есть самое главное для меня. И после ты сам выберешь свой путь: или умереть тебе, или жить тебе. Только твердо помни, что первое легче тебе будет, потому как я ненавижу тебя.

Я ненавижу тебя до самого костного мозга, до ломоты в суставах, до прикусов кровавых на губах своих. Я вскрыл бы тебе грудную клетку и прижигал бы сигаретами мясо твоего сердца. Я вырежу тебе язык и скормлю его крысам. Я слатаю миску для собаки из твоего черепа и буду наслаждаться, наблюдая за тем, как она лакает из него похлебку и как это варево выплескивается из твоих глазниц. Я сожгу тебя и буду подмешивать золу от плоти твоей в корм своим рыбкам. Я закажу себе сделать гондонов из твоей кожи: вообрази, что я чувствовать буду, натягивая его на свою плоть и трахая очередную суку. О-о! Я кончать в тебя буду, поганый выродок! Вот что я сделаю с тобой! Ты сдохнешь, а я все еще буду иметь и иметь тебя! Иметь и иметь, иметь и иметь. Вот так. Вот так. Вот так.

Я объясню тебе. Я расскажу тебе, в чем тут дело. Я допускаю, что с первого раза ты еще ничего не понял. Все казалось таким простым и ни к чему не обязывающим, верно? Ай, не бейте, ай, простите, это выдумки все такие. Так просто взялось и придумалось, да?! Только вот неувязочка у тебя вышла, гаденыш. Я, я, я! – лично с ним сидел, в глаза его смотрел, и речи его слушал! Голос его в ушах моих, слово его в крови моей и вера его в сердце моем.

Жизнь моя перевернулась, а тебе это все придумалось, так, что ли?! Душа моя наизнанку вывернута, а тебе нечаянно написалось, ни с того и ни с чего? Молчать, молчать! Закрой свой поганый рот! Тихо сидеть! Слушай, в последний раз говорю я тебе, в последний! Или кровью блевать будешь, обещаю тебе! Вот так. Вот так. Вот так.

То, что ты написал, – это правда. Это истинная правда. Так оно все и было. И неважно, что детали несхожи многие, потом поймешь, если осилишь, почему так вышло. Главное, что в сказанном основание верное имеется. Слова правильные говорены. Некоторые моменты переданы с удивительной точностью, как будто дословно записано было, а некоторые слукавлены и переиначены сделались. Но как мать завсегда узнает дитя свое из множества других *очень похожих* детей – так и я узнаю *свое* из тысяч книг написанных. Вот так.

Уверовать бы тебе искренне, что слово чужое молвил, и не трону я тебя. Но нет, ты же без веры, ты же сам все придумал и изложил, выше всех сделаться захотел. Поверь ты, что эта сила в тебе самом находится, и не трону я тебя. Но нет, ты сильнее этой силы намеревался быть, над великим насмехаться удумал. Сдохнешь теперь, коли так упираешься. Сгинешь безвестно, на веки вечные. Вот так. Вот так. Вот так.

Все было так, как написано у тебя. И год. И время верное было указано. И девчонка эта была. Но мы ее нашли, нашли, откуда у нее ноги растут, – хотя и пишешь ты, что нет. И следователей многих не было, а только один я и был. И писца твоего, Кристо, не было в помине, а *все записи на катушки делались*. Вернее, он был, этот Кристо, но совсем не там, где ты написал его. Я об этом потом скажу.

А писал потом я сам, по памяти все восстанавливал, сколько смог. Твоя правда была, все архивы пожгли, ничего не сохранилось. Только я один свидетель остался. Ну и ты вот еще пока есть. Вот так. Вот так. Вот так.

Посмотри на меня. Посмотри, я сказал! У меня двусторонний горб. Из-за этого плечи мои будто бы выломлены вверх, и шеи моей почти не видно, словно голова моя вросла прямо в туловище. Это родовая травма. А еще моя правая нога в колене покалечена: видишь, когда я стою, она сгибается в колене словно бы назад, как будто она сломана. Смотри на меня, я говорю! Видишь? Видишь?

Это ничего, и только сперва болезненно бывает смотреть на меня, а потом и не замечаешь уже. Если бы мы встретились где-нибудь иначе, и не поверил бы ты мне, что я есть тот, за кого себя выдаю. Ведь не поверил бы, да?! Ну, уж не поверил бы, ясное дело. Ну а *здесь* уже – хочешь или не хочешь, веришь или не веришь, значения не имеет. Не меня к столу прицепили, а тебя. Не я *кровью харкаю*, а ты. Вот так. Вот так. Вот так.

Это пока было не очень сильно, по лопаткам. Но в следующий раз я только моргну, и тебя ударят чуток ниже лопаток, и тогда ты будешь давиться уже не кровью, а своими легкими. Усвоил? Это хорошо. Тогда послушай вот. Почитаю тебе немного, отрезвлю твою память. Сиди и слушай, сиди очень тихо и слушай, сиди молча и слушай внимательно. Вот так.

Стоменов

Стоменов: Прибился к нам однажды, Сергей Дмитрич, леший один, городской житель, и прибился ведь, вода не разлей: важный такой, ученый весь, в книжечке загрудинной своей вечно чего-то царапает. Мне тогда годков семнадцать было уже, или около того.

Деткам и бабам любопытство, а Никола молчит, ну и куролесит этот леший по дворам, все расспрашивает да свое

чирикает. Оно бы да и ладно, только удумал этот леший насовсем с нами остаться, шибко проситься начал с нами быть. Говорил часто, что хочет постигнуть природу зла, и ницшу все какую-то поминал, в записки свои тыкал. Умная, мол, особенно эта ницша, каких свет белый не видовал.

Следователь: Наверно, Ницше? *Ницше*?

Стоменов: Да ницша вроде бы как, Сергей Дмитрич, про ницшу речь шла, а что за ницша такая, он так и не сказал. Да мы и не спрашивали, мало ли чего людишки удумают. Чего лыбишься? Ну, так вот…

Следователь: А вы, стало быть, оно самое зло и есть? Раз он с вами решил его постигать?

Стоменов: Николе он сперва даже глянулся, да и мы ничего, пущай будет, раз хочет. Горя от него никакого, а потехи много. А тут как раз у Марфиной кошки котяты народились, и Никола дал ему самого черненького. И Ваньке еще дал, ему как раз срок был, а остальных в речке стопили да закопали. Ванька хотел черного, но Никола настоял, и городскому дали самого черного, а Ваньке, значится, с белыми пятнами на морде и хвосте дал.

Теперь ты послухай, Сергей Дмитрич, чего этот леший-то учудил! Заявился он заполночь к

Николе, про котел справиться. Чтоб, значит, *уварить* котенка и сделать себе обережную.

Удавил ведь черненького, леший городской! Тут Никола взял дрын сосновый, да и погнал его с глаз долой. До опушки его сосенной лупцевал, а потом отстал да и домой воротился.

Больше мы городского этого не видели. Сбег, наверное, обратно в город свой. Вот такая, Сергей Дмитрич, вышла наша история. Хоть и нешибко его Никола грел, а наука надолгая ему будет, основательная. И поделом. Ницшу свою пусть постигает лучше.

Следователь: А котенок-то зачем, Андрей Николаевич? В чем фокус будет?

Стоменов: Какой такой фокус?

Следователь: Зачем этому городскому котенок был дан? Зачем вашему Ваньке котенок, и что за срок такой у него подошел, что котенка нужно давать? Зачем?

Стоменов: Ну, как это зачем? Котенок только-только народился, его выходить следует, имя ему надобно дать справное, подрастить его. Годок заботу о нем держать нужно, никак не меньше.

Следователь: Никак я не пойму, зачем все это? Растолкуй мне, Андрей Николаевич!

Стоменов: Я тебе, кажись, Федора поминал уже, да? Потонул который в проруби? Вот его баба, еще до погибели его, двух бычков содержала. Любила их сильно-сильно. Поди, если бы на них медведь позарится, сама бы с медведем сцепилась бы, чтобы в обиду не дать.

Детков у них не было, вот и любила она бычков, будто деток своих. Ну, так и что? Время пришло, она бычков саморучно жизни и лишила, хотя Федор в ту пору еще здравствовал.

Так вот и с котенком выходит: тетешкай ты его и души в нем не чай, да только попомни крепко, чему он тебе служит и *на что тебе даден*.

Следователь: Я, Андрей Николаевич, тоже житель городской, так что загадку мне твою не разгадать, право слово. С бычком мне понятно будет, но что за с котенком задачка, никак я в толк не возьму.

Стоменов: Я расскажу, Сергей Дмитрич, тока ты не понукай шибко и со слова не сбивай меня. Я не впустую тебе о жителе городском поведал, он тебе в пример будет. Удивляюсь я знаешь чему? Вот вроде он много ученее тебя говорил, все мудрено как-то, а у нас ему корыто бы помыть никто не доверил, слабого умишка был человек, хоть и говорил инако.

А ты вроде просто слова кладешь, но ум я в тебе чую сурьезный, схватливый. Ну а что не разгадал, так это ничего, это я поведаю тебе помаленьку. Затем я и здесь.

Горбун

Все началось с Маркова. В том самом 1978 году. Знаешь, кто такой Марков? Нет? Марков – это болгарский диссидент. Еще в 1969 году он удрал в Англию и благополучно прожил там до 1978 года. Да, да, именно, до нашего

1978 года, о котором и речь, – пока его там не достало болгарское КГБ по заказу Тодора Живкова. Прикончили они его замысловато: он умер от специального яда, причем такого, что человек как бы сам умер, от скоротечной болезни.

Яд этот называется *рицин*, получают его из семян касторовых бобов. Собственно, из них делают касторовое масло, а рицин получается вроде как остаточный продукт. Ядишко так себе, дрянь: в воде он разлагается, на солнце разлагается, через кожу не проникает. Америкашки сперва хотели его как химическое оружие использовать, но не сподобились, как раз из-за этой капризности. Ну, а для отдельных случаев, вроде Маркова, рицин в самый раз будет.

Первые симптомы появляются через 15-20 часов после отравления, токсическое действие самого рицина протекает скрытно и выявить его присутствие в организме очень сложно, а то и невозможно вовсе. Помер и помер, а чего помер, наука об этом умалчивает. Вот так.

Убивали Маркова болгары, но яд для них делали мы, да и весь процесс в целом проходил под нашим чутким руководством. Яд предварительно был опробован на заключенных: не все прошло гладко, кое-кто выжил, но в целом результат был очень хороший. Вот тогда и проявился Стоменов, ибо он *оказался единственным*, на кого рицин *не оказал никакого действия*. Ни-ка-ко-го!

Как будто под кожу ему ввели не рицин, а витамины. Не было ни тошноты, ни рвоты, ни лихорадки, ни повышения температуры, ничего. Объяснение этому нашли очень простое: якобы, напутали и ввели не тот препарат. Кто-то получил по шапке, но эпизод замяли. К счастью, последующие трое «кроликов» скоротечно подохли, и рицину окончательно дали добро. В сентябре семьдесят восьмого Маркова убили: то ли с помощью особо сделанного стреляющего зонтика, а то ли выстрелом ампулой с рицином из специального пистолета. Тут я не знаю точно, слухи разные ходят, это уже не нашего поля ягода.

Убивали Маркова в Лондоне, куда он утек. А мы, значится, сидели в Софии и дожидались вестей, и если выйдет гладко, то пакуй чемоданы и ковыряй дырку под медаль. А если не выйдет, то иные средства нужно срочно искать. Курарин, например. Или *инфарктный газ*. Решение-то на самом верху было принято, выше и не бывает уже. Вот и посодействовали: яды, спецсредства, оружие, инструкторы. Основательная работа проведена была.

Стоменов как раз сидел в одиночке, когда было решено рицин на «кроликах» опробовать. Он еще не разговаривал тогда, и вроде бы никакой ценности ни для кого не представлял. Ты вот в книжке своей пишешь, будто там целая гвардия его делом занималась, – так знай, что не было такого в помине.

Никому до него дела не было совершенно, хотя галочку напротив его фамилии поставили: как-никак не каждый день людей в казане уваривают, а тем более ребенка.

Не знаю, то ли он не в то время попал, то ли не к случаю пришелся. Но попал он неловко и неудачно: вроде и *интерес к нему анатомический имеется*, да заниматься этим и некогда, и некому. Голову ломали недолго: ни родных, ни близких, ни друзей, ни соседи о нем двух слов связать не могут, хотя и бок о бок многие годы прожили. Да и содеял он такое, за что живым уже не выпускают, *только ногами вперед*. Это сейчас о таком в газетках пишут, а раньше не то что в газетках, а и срок могут дать, если на ухо кому лишнего сболтнешь. Знаешь – и знаешь, и молчи себе в тряпочку.

Сдал Стоменова сосед. Опять же вышло как-то глупо и несуразно: соседа что-то в печень кололо, он и нашипел с досады про Стоменова своему бывшему сослуживцу, а тот и донес куда следует. Случись это на день раньше, и не было бы истории. Направили к нему даже не нашего, а участкового. Он в дверь звонит, Стоменов открывает: проходите, мол, раз уж пришли. Ну а там, сам понимаешь, что он там увидел, когда по комнатке-то прошел да на кухню заглянул. Участковый этот потом умишком расстроился, слишком уж неожиданное и страшное увиделось зрелище. Стрелять даже, дурак, начал в потолок для острастки. Вот так.

Ну а дальше понятно, можно и по-твоему принять, за исключением лишь, что никакой там тайны не было: документы в порядке, прежние места работы нашлись. Пенсионер, никому не нужный и ни в ком не нуждающийся сам. А ты туману, туману-то напустил, зачем? По соседям пошли, а они пык-мык, ничего и сказать не могут. Ну, видели, как заходил в хату или как выходил. Никто не приходил. Никто не уходил. Чем живет, не знаем, да и знать не хотели особенно, уж больно суровое какое-то он впечатление производил. Так ничего и не узнали толком. *Списали* его по-быстрому, даже могилку уже пометили под номером 1971, безвестную. Да только вот он не умер, хотя всем казалось, что раньше других откинется: старый все-таки он уже, хотя и выглядит моложаво. А оно вот, значит, как вышло. Не так, как нам думалось. Не так.

У тебя сказано, что допросы многие люди вели, а на самом деле только я их один и вел, а больше никто. Никакого Стефана, который у тебя сошел с ума, не было в помине. Не было такого персонажа. А вот Бронислав был, *это верно*. Вот только ему Стоменов ни слова так и не сказал, все впустую. Молчит, и все тут, хоть убей.

Собственно, Бронислав ему пропуск на тот свет и выписал: перспектив у дела никаких, на суд такое не выносят. В лучшем случае – это психушка или одиночка пожизненно. В очень лучшем случае. А в худшем и так понятно, чего в худшем обычно бывает.

Я тогда занимался немного ядами, немного травами, немного снадобьями целебными. Мы курировали несколько закрытых институтов, брали на учет всяких колдунов и знахарей. Я руководил штатом из *девяти человек*, и, по нашим меркам, был мелочевкой, хотя болгары меня считали очень большим человеком. Провинциальное мировоззрение сказывается, так сказать.

Когда мы рицин опробовали, я, в общем-то, был седьмая вода на киселе, никакого участия не принимал, лишь присматривал для пользы своего дела. Я, кстати, был подполковником, а не полковником, как ты пишешь: лишнюю звездочку накинул ты мне. Они травят, а мы лечим, почти смежных профессий специалисты. Одним и тем же снадобьем можно убить, а можно вылечить – от дозы только зависит. Например, мухомор. Чуток его – польза, а чуть больше – и оюшки.

Мы начальству вместо рицина более сильные яды предлагали, из нашего ассортимента, но им нужна была смерть, максимально похожая на естественную. Чтобы истинную причину, значит, установить нельзя было. Вот и остановились на рицине.

В сентябре семьдесят восьмого Маркова убили. Телом он оказался слаб, и помер быстрее, чем обычно это бывает от рицина. Но вот духом, видно, был силен человечек: ровно через 13 лет *прибрал к себе* своего однофамильца, Георгия Маркова, советского писателя, одно время возглавлявшего Союз писателей СССР. В сентябре девяносто первого, ровно через тринадцать лет после гибели диссидента, один польский еженедельник напечатал статью о тайне смерти Георгия Маркова, диссидента, но на фотокарточке к этой статье поместил другого Георгия Маркова, писателя. Ошибся вроде бы как. И что ты думаешь? Помер этот писатель Марков незамедлительно и скоропостижно.

Как только ошибка раскрылась, тот и издох. Вот так. То ли в Маркове этом дело, а то ли в Стоменове, косвенно сыгравшем в этом далеко не последнюю роль. А ведь все, к чему касается Стоменов, преображается. Что-то расцветает, а что-то умирает. Такой вот силы великой был человек.

Вит

Ногти на его руках были удивительно красивы. Мягкого розового перламутрового цвета, с кокетливой белой полоской на краях. Отполированные с безупречностью камня, который веками шлифовали морские волны. Когда руки спокойно лежали на столе, между правой и левой рукой воцарялась чарующая симметрия, словно одна из его рук зеркально отражала другую. Его пальцы притягивали взгляд, они завораживали своей немыслимой красотой и совершенством формы. Одному богу известно, сколько времени и сил нужно, чтобы ногти стали удивительным произведением искусства. Одному богу известно.

Желательно смотреть только на его руки. Смотреть и не отводить взгляда. Смотреть только на его руки. И никуда более. На все остальное смотреть страшно. Больно глазам. Странное ощущение ломоты в костях, словно перенимаешь его уродство и приноравливаешь его на себя. Двусторонний горб, который обтягивает белая рубашка. Вросшая в туловище голова с грязной немытой копной волос. Небрежно подстриженная серая бородка и полоска усов, из-за которой изредка показываются крупные желтые зубы. У него большой рот, говорит он хрипло и тяжело, как, наверное, говорит человек с тяжелой ношей на плечах. Его плечи выломлены как-то вверх, так что их краев касаются мочки ушей. Я думаю, если он сможет сделать усилие, то прикроет ухо целиком одним движением плеча, не поднимая руку. Моя рука непроизвольно дергается, словно желаю попробовать проделать это. Но я не могу это сделать при всем желании. Мои руки прицеплены наручниками к крюку, который вварен в стол. Почему к лицевой, а не к донной части? Наверное, он хочет видеть мои руки? Все время на виду мои руки, как они ведут себя, как они выдают меня, мои мысли и чувства?

– Мы постарались максимально точно приблизить ту обстановку допроса к сегодняшнему дню, – начал он, медленно расхаживая из стороны в сторону, от стены к стене. – Это не случайность, и в этом есть определенная цель. Я не буду говорить пока, что это за цель: главное, чтобы ты вживался в обстановку. К столу ты прикован с той же самой целью, и в таком положении будешь находиться до тех пор, пока я не получу ответы на все вопросы, которые меня интересуют.

Я кивнул и вдруг с ужасом понял, что он не может сидеть. Он никогда не сидит, никогда. Он или ходит из угла в угол, или стоит подле стола, опираясь на него. Возможно, когда он пытается сесть, у него передавливает легкие. Или ему просто больно сидеть. Табурета не было, стула не было. Вчера он ходил весь день. Он все время на ногах. Наверное, он как-то спит, не может же он спать стоя? Но как жить, если ты не можешь сидеть?

Я не могу без содрогания смотреть на его ногу. Как будто ее взяли и переломили градусов на двадцать, упершись в колено и потянув носок вверх. Когда он ходил, это было не очень заметно, но когда он останавливался, его нога выгибалась коленом назад. Смотреть на это страшно.

– Позади тебя стоит мой верный помощник, Андрюша Стороженко, – продолжил горбун, повернувшись ко мне и заглянув мне за плечо. – Роль его в нашем разговоре ты уже, мне кажется, хорошо почуял. Если мне не понравятся твои неправильные ответы, он поможет тебе найти или вспомнить правильные. Если меня не удовлетворит то, как ты исполняешь мои просьбы, то он сделает тебя более охочим. Трех хороших ударов, как правило, вполне достаточно для того, чтобы человек умер от множественных внутренних кровоизлияний. Вот так. Вот так. Вот так.

Ни окон, ни решеток в комнате не было. Дверь тоже без окошек, никаких прорезей и дыр, а только глазок. Зеленая краска облупилась и под ней проступала старая, голубая. Нет ни батарей отопления, ни камер наблюдения, ни раковины, ни унитаза – ничего такого, как в кино показывают. Это не камера. Больше похоже на комнату свиданий. Тусклый желтый свет от плафона на сером потолке. Я попытался вспомнить, как описывал камеру допросов Стоменова, но не мог вспомнить ничего. Ничего. Он вообще был в психушке, кажется. Не помню. Ничего не помню. Ничего не помню.

– Слыхал про Салмана Радуева? А знаешь, как он умер? – спросил горбун, остановившись возле стола, оперевшись на него и впившись в меня своими мутными серыми глазами. – Умер по *естественным причинам*. От множественных кровоизлияний. Можно и рицином, конечно, но в благополучном исходе полной уверенности нет. Это нам доказал не только Стоменов, но еще и пара других заключенных-смертников, которые чудом выжили. Ну а тут, как говорится, фирма гарантирует. Андрюшенька знает свое дело.

Я его почти не слышу. Я смотрю на свои руки, а мои плечи непроизвольно сжимаются от шумного дыхания за моей спиной. Я пытаюсь понять, как лучше сделать, чтобы было не так больно, не так огненно больно, не так режуще больно, когда тебя ударят, когда в твоих глазах вдруг вспыхнет красное марево, брызнут слезы из глаз и горлом пойдет кровь? Как лучше: набрать воздуху в легкие или расслабить их?! Хочется набрать, набрать побольше, чтобы спина превратилась в чугун, чтобы мышцы стали непробиваемой сталью, чтобы я ничего, ничего, ничего не почувствовал.

Горбун снова заглянул мне за плечо, а затем поднял правую руку и нарисовал в воздухе квадрат. Я сжался и закрыл глаза. Но ничего не происходило. Малейшие звуки причиняли немыслимые страдания. Воздух колыхнулся возле моей левой щеки, какое-то движение, и снова ничего. Я открыл глаза. Рядом с моими руками, «лицом вниз», лежали фотографии, штук пять или шесть. Я увидел серую матовую изнанку и понял, что бить меня не будут. Сейчас бить меня не будут. Меня не будут бить.

Подле него стоял стакан с водой. Он взял его и сделал несколько глотков. Мне тоже очень хотелось пить, но я боялся попросить его об этом.

– Как я уже сказал, – начал горбун, поставив стакан и приступив к изучению своих ногтей, держа пальцы левой руки в правой руке и разглядывая их с тщательностью ювелира, – то, что ты написал в своей книге, истинная правда. Но не это сейчас важно. А важно то, что в 1990 году, когда *наибольшую* часть архивов болгарского КГБ уничтожили, – в девяностом, а не в девяносто первом, как ты пишешь, – я остался единственным свидетелем разговора с ним. Единственным носителем тайны его. Был еще один, но он издох еще в восемьдесят первом году. От обширного кровоизлияния в мозг, это тебе ничего не *напоминает*? Давай я повторю: от обширного кровоизлияния в мозг. Мгновенная смерть. Но даже и живой он никакой опасности не представлял. Узнаешь потом, почему. Никто, ничто и звать никак.

Но вот ты, паскуда, совсем иного рода дело. Мало, что написал, так еще и ход дал этому, в мир это выпустил. Меня не волнует, где тебе это взялось: пригрезилось, приснилось или птичка в клювике принесла. Не знаю, и знать не хочу.

Но я точно знаю другое: никаких дневников – *нет и никогда не было*, а написал ты все это по наитию. Ну а раз написал, то и ответ теперь держи. Потому и здесь.

Я подумал так: коли по наитию начал, то по наитию и продолжение будет. Недосказанное доскажется. Утаенное откроется. Не уверен, сможешь ли ты *продолжить*, но если нет, то беда твоя, и слова в белый свет ты больше не скажешь. А сможешь если, то и полюбовно разойтись сможем. Я слово свое завсегда держу. Хоть и ненавижу я тебя люто, а отпущу и помогу еще даже. Потом и это поймешь тоже, если осилишь.

Ты украл у меня радость мою: остаться с ним наедине навсегда, на веки вечные. И если бы не хотел того он, то не жил бы я уже, как другие многие уже на тот свет сошли, касаясь об одежды его. Но ты же и надежду дал мне великую услышать его заново, слово новое, речи желанные, науку великую, силу вечную, радость безмерную. Через тебя услышу. Твоими губами его внемлю. А не услышу если, то в порошок тебя сотру. В золу превращу, и пепел по морю

развею.

Он замолчал, тяжело дыша, его горб ходил ходуном под рубашкой. Я слышал его дыхание и боялся поднять голову, боялся на него посмотреть. У меня нет того, что он просит. Да, я уже перестал отрицать, что все это выдумки. Я согласился быть проводником слова его. Я примирился с тем, что был авторучкой в руках черта или бога. Если и писали, то *мной*, но не я сам. Если и писали, то *через* меня. Но не я сам. Не я сам. Не я сам.

Дыхание его успокоилось. Он поднял голову и внимательно посмотрел на меня, в глазах его налились красные прожилки.

– На столе несколько фотокарточек. Не переворачивай их. Не трогай их вовсе. Осмотрись на них, принюхайся к ним как бы. Найди нужного человека. Найди человека, который *нам* нужен сейчас.

– Я его знаю?

– В том смысле, в каком ты подразумеваешь, нет. В том смысле, в котором подразумеваю я, тоже нет. Так что, *искай* с чистым сердцем.

– Как я найду то, что я не знаю? – слова давались мне с большим усилием, я понимал, что ответ его не устраивает, но что сказать? Что сказать мне ему?

– Понятия не имею, мать твою! – завизжал горбун. – Нюхай, лижи, соси! Руками над ними води! Не переворачивать! Ищи! Не надо ничего знать, достаточно будет того, что я знаю! Найди то, что я знаю! Найди немедленно! Ищи, ищи, ищи!

Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, но серые пятна карт плясали в глазах, как будто ты поймал вспышку яркого света. В ушах зашипело шумом морской раковины, прижатой к уху. Я тряхнул головой, пытаясь отогнать пятна, зажмурился изо всех сил, но карты не уходили, одна из них светилась более остальных, вторая слева светилась более остальных, вторая слева, вторая карта слева.

– Вторая слева, – прошептал я, открывая глаза. Наручники слабо звякнули: подковырнув пальцем фотографию, я перевернул ее. На меня глянуло некрасивое лицо: тяжелая роговая оправа, ядовито тонкие губы, длинная шея с сильно выпирающим кадыком, мешки под глазами, большие залысины по бокам, вросшие мочки ушей. Выражение лица было какое-то воспаленно-взволнованное. Кто это, я не знаю, но почему-то, увидев лицо, я подумал, что угадал и что это – *именно он*. Я исподлобья посмотрел на горбуна, но его лицо было непроницаемым.

– Это Ракшиев, – наконец изрек горбун, зло ощерившись. – Кристо Ракшиев. Да, да, тот самый, о котором ты в книжке написал. Все верно, он и был нам нужен. Это Ракшиев. И это будет отдельная история.

Стоменов

Стоменов: С котенком энтим, Сергей Дмитрич, все просто выходит. Не знаю, что леший городской удумал, да только раз схватился ницшу свою постигать, тогда по-нашенски это делай и легких путей себе не ищи. А то погляди, подвиг себе сыскал, котенка уморил. Вот Ванька наш все верное содеял: выходил своего котенка, взрастил его, откормил. Кот у него вышел ладный, масть черная, порода шелудивая. Мышей ловил исправно, а головы ихние под порожком оставлял. Целый мешок их Ванька потом насобрал. И только когда год коту сделался, *удавил* его Ванька своими собственными руками. Удавил и уварил, чтоб, значит, обережку-то себе сделать.

Следователь: Как удавил?!

Стоменов: Знамо как, руками. А иначе, Сергей Дмитрич, никак нельзя. Если Марфа котят ненужных стопила, так в этом силы нету никакой. Или Степан этот, узник, про которого я тебе поминал уже, до кошек охочий был: петлю ей на шею, и в руке держит, пока она не задохнется. Мышей, дескать, не лов*и*т, зверина паскудная. Но нету в этом никакой силы, Сергей Дмитрич, *нету*.

А если ищешь силу, то возлюби сначала животную, прикипи к ней душой своей, прежде чем жизни ее лишать. Вот тогда и будет тебе эта сила, *великая сила*. Если сдюжишь, конечно. Потому как не сдюжить очень можно. Рука дрогнула, сердце трещину дало – и не только сила тебе не дастся, а самому можно жизни лишиться враз. Да и смочь содеять это не каждому дано, науку-то нашенскую.

Год кота охаживай и уж потом делай, что велено. А если не выходил или не углядел, если

под тележье колесо попал нечаянно или собаки подрали, а то и сгинул вовсе – то начинай все с начала, пока своего сполна не достигнешь.

Ну а если вышло все, как положено, то и обережек твой справным выйдет. *Сила* звериная *войдет в тебя*. Кота

уварить следует, вот всю ночь подле котла сиди, огонь поддерживай да водицы колодезной подливай. Как есть, так его и вари, не нарушая. А с рассветом огонь уйми, остуди, да в вареве этом косточку котячью в дело себе выбери для обережного, ее на шее носить надобно до тех пор, пока сила есть в ней. А можно еще бусины изготовить, на шнурочке, Никола себе такую забаву сделал. Что молчишь, Сергей Дмитрич, что не вопрошаешь?

Следователь: Думаю, Андрей Николаевич, думаю. Озадачил ты меня, право слово.

Стоменов: То-то я и погляжу, сидишь, рот разинучи да глазами хлопоча. Примериваешь, поди? Но лучше сторонись, Сергей Дмитрич, сторонись лучше, иначе эта косточка станет тебе поперек горла. Сердце иссушит, кровь сгноит, мукой желчной нутро тебе выест. Чай, благо, что вздер и погнал городского Никола, а то ссохся бы заживо от науки нашенской.

Вот только одно мне интересным будет: откуда же узнал он, что кота уваривать надобно? Мы емуентого не говорили. Неужто в книжках выпытал, в нищше своей?

Следователь: Читать – не читал я, Андрей Николаевич, а слышать – много наслышан. Вот только по его разумению, а не по твоему. Но в их слово *не верю* я, пустозвонным кажется оно мне, а в твое слово мне *верить не хочется*, ибо страшное оно больно.

Стоменов: Будто вы тут не страшное творите, в стенках этих. Гляди, пострашнее нашего-то будет.

Следователь: Твоя правда будет, Андрей Николаевич. Прости, нарушилось что-то во мне, словно душой наизнанку вывернуло. Приноровил я слово твое на себя, верно ты сказал, и тошно мне стало. Страшно мне слушать речи твои. Что же за люди вы такие будете? Люди ли или нелюди вы? Смерти молитесь, чтобы жить, и любите, чтобы удавить своеручно. Я понять хочу тебя, Андрей Николаевич. Понять искренне, понять и принять всем сердцем моим. Но только воротит мое сердце от слов твоих.

Веру в себя я теряю от слов твоих, силу свою я теряю от слов твоих, разум свой я теряю от слов твоих. Но *ты говори и дальше*, Андрей Николаевич, говори и дальше, говори, говори, говори: пить я буду чашу свою до дна, спать я буду с мыслями о тебе, слушать я буду тебя, и только тебя, и верить теперь я буду только тебе. Только тебе, и никому больше.

Горбун

– Вот это и есть твой Ракшиев. Он действительно вел дневники, где практически слово в слово рассказал то же самое, что написал ты в своей книге. То же самое, что происходило на самом деле. Расхождение лишь в том, что Ракшиев никогда не работал в КГБ, а, скажем так, *ему казалось*, что он там работал. Надо ли пояснять, что это значит?

Ракшиев был ненормальный. Еще в семнадцать лет ему поставили диагноз «шизофрения»,

так что психушка стала его вторым домом. А если быть точнее, то первым, потому как из нее он выбирался домой на очень непродолжительное время. Ему казалось, что он Ленин, он разговаривал с Троцким и со Сталиным, постоянно отдавал какие-то распоряжения и все время просил себя забальзамировать после смерти.

Шизофрения и сейчас толком не лечится, а тогда и вовсе. Тем не менее в 1978 году в его картине болезни наступило обнадеживающее облегчение, и его выписали. Однако вышло это ненадолго, и в мае того же семьдесят восьмого года его опять упекли в дурдом. Только вот содержание его видений шибко изменилось за эти 3 месяца. Он стал «работать» в КГБ *стенографистом* и ведать всеми самыми важными секретами, какие только могут быть. Я не знаю, как насчет других секретов, но вот этот, про Стоменова, он знал с поразительной точностью.

Собственно, никакой тайны в этом нет, и если бы ты не только написал эту книгу, но еще и внимательно ее перечитал, ты бы обнаружил, что его *болезнь прорывается на страницы книги*. Один Фрейд чего стоит. Какой, на хуй, Фрейд?! В семидесятые годы любой словарь определял психоанализ, как ложную буржуазную науку. И хотя в Болгарии очень сильная психологическая школа, а институт у них *по этим делам* был одним из лучших в мире, но в его недрах психоанализу тогда большого значения не придавали.

Зомбирование, техники допроса, гипноз, внушение, чтение мыслей – практические вещи, в общем. Фрейд был точно таким же пациентом дурдома, как и твой Ракшиев. И Стефан, который якобы сошел с ума, и его там лупцевал дубинкой санитар. Припоминаешь? Да и сам Стоменов говорил, если тебе в силу это вспомнить, что Кристо *на головку слабоват*.

Так и сказал, слово в слово передаю: «на головку слабоват». А не веришь если, сам открой и зачти потом, что написал.

Писать ему никто не запрещал – он был тихий, и ему многое разрешалось. Вот с ним как раз в одной палате Фрейд и жил этот. И еще один был, тоже тихий и тоже с припиздью очень своеобразной. Ему чудилось, что все слова, кем-то говоренные, можно собрать и скатать в войлок, как от собаки линявой шерсть собирают да носки вяжут. А он, значит, удумал из слов связать себе амуницию, которая потом от слова худого его и защитит. Смотреть нам на это было дико: глянешь сквозь окошко, а они по стеночкам ходят, потому как в центре комнаты, якобы, большущий клубок был уже из слов намотан, и его нельзя потревожить. А он сидит и все пальцами в воздухе сучит, сучит, перебирает, будто шерсть скатывает.

О Ракшиеве я узнал случайно: наблюдающий его доктор сначала значения его фантазиям не придавал. И не такого слыхивать приходилось. Но по мере того, как эти фантазии – а правильнее сказать, *протоколы* – обрастали все новыми и новыми подробностями, доктор напугался, и от всякого худого случая стуканул куда положено. *Изба* у нас большая была, сам знаешь, народов много, и левая рука не знает, что правая делает, вот и слухи ходят. В конце августа шепнули мне про юродивого, и я с ним повстречался. Вот так. Фотография эта как раз того времени, когда он *протоколы* писал.

Разговора с ним у меня не получилось: то ли он не принял меня, а то ли совершенно впал в безумие свое. Бился я с ним, бился несколько часов, все без толку. *Протоколы* забрал да и к пленочкам приложил. Дурак! Сто раз я потом пожалел, что сделал так! Своими руками в

золу превратил все сказанное. А что потом по памяти переписал, так в том цены особой нету, сам понимаешь. Я ведь *обычно* с ним говорил, со Стоменовым. Но вы с Ракшиевым *по-особенному* как-то. Потому я и интерес большой к тебе имею. Вот так. Вот так. Вот так.

Только в *протоколах* Кристо ничего не было, кроме самих бесед наших. Но ты еще и все его безумие вместил, многие детали верные подметил, которые он или упустил, или вовсе не знал. Так что к тебе интерес мой больше, понятно дело. Одна лишь беда: Ракшиев этот хоть и сумасшедший был, а в слово сказанное верил искренне. А ты здоровым будешь, но слово свое ложью называешь, игрой воображения. А ведь сказали вы с ним слова – *одни и те же*. Вот ведь какая загадка выходит.

Вит

– Я так понимаю, – сказал горбун, вышагивая от стены к стене, – карточку ты увидел, так? Она может светиться ярче остальных. Она может дрогнуть или выпасть из ряда. Мозолит глаз, не оторвать, не отряхнуться, взор твой внутренний на нее спотыкается, верно? Разно может быть, но неважно, как именно.

Я в этих вопросах *собаку съел*. Чай, не зря годами по колдунам да по знахарям ошивался. Насквозь человечишку вижу – подчас лучше, чем он себя воображает. Вот так. Андрюша, а ну-ка, расцепи его на минутку, покажу кое-что.

Стороженко шумно чавкал жвачкой, его горячее клубничное дыхание обожгло мне щеку. Руки у меня лежали на столе, не внатяг и почти не чувствуя металл, но когда наручники щелкнули, я поочередно ладонью потер запястья, словно бы освобождаясь от неприятного ощущения на коже.

– Глаза-ка закрой, – гавкнул горбун. – Закрой глазенки-то свои. Вот так. Сейчас я положу карточки опять подле тебя, только все их перетасую, а ты ручонкой над ней поводи. И где большее тепло почуешь, покажи. Давай, давай, начинай. Прощупай сначала, где лежат они перед тобой, а потом уже не трогай.

Я поднял руки, чувствуя, как они дрожат. Моя правая ладонь пылала жаром. Я неуверенно провел несколько раз над столом, но ничего не почувствовал.

– Не знаю, – сказал я, открывая глаза. – Я ничего не чувствую, никакого тепла.

Какое-то движение у меня за спиной, и дубинка оглушительно шлепнула по столу, так что вода из его стакана немного расплескалась. У меня перехватило дыхание от страха.

– Ищи, ищи, – ехидно сказал горбун, – иначе в следующий раз по хребту прилетит. Глаза-ка закрой и ищи. – Он остановился и посмотрел на меня. – Ищи! Не думай ни о чем, ищи!

Не головой ищи, а *руками своими*. Глаза соврут, голова слукавит, но руки правду скажут. Руки слушай свои, руки чувствуй свои, слушайся рук своих! Давай, давай, закрыл глазки! Ищи!

Шумное дыхание за спиной сводило судорогой мышцы. Через силу я поднял правую руку и провел ею над столом. Что-то показалось мне. Я провел еще раз, и в одном месте очень явственно угадывалось тепло. Я открыл глаза и перевернул карточку.

– Это любая бабка деревенская сделает и любой дурак смогет, стоит чуток поучить его, – оскалился горбун и снова начал ходить. – Но молодец все же будешь. Хорошо. Ты зацепи его, Андрюшенька, обратно, хватит этого ему на сегодня.

Я перевел дух. Черная толстая роговая оправа очков пялилась на меня, тонкие ниточки губ кривились в недоброй усмешке.

– А ведь меня кто-то и за колдуна самого чтил, – вышагивал горбун. – Из-за уродства все моего. И привечали, конечно, жалели меня, бабки-знахарки особенно. Никто меня так и не угадал, кто я есть на самом деле. Говорили всякое, да все пустое. Оно и раньше силу редко встретишь настоящую, дельную, а после встречи нашей с *ним* – и особенно, потому как ты разумеешь, что есть сила истинная колдовская и каковой *путь* пройти должон ты, чтобы заиметь ее сполна. И никакими коленами не передается сила эта. Не передается. Вот так.

Ты не косись, что говорю простецки я: раньше в этом надобность была, потому как много с разной простотой общался, а потом и не смог уже иначе, прикипели ко мне слова его, на веки вечные в сердце мое вошли, разум мне замутили и кровь мою взгорячили. Страшным испытанием слово его мне сделалось, ибо силу мою уничижило и в прах ее развеяло. Как в соперничестве с сильным телом постигаешь ты ничтожество свое, так и в прикосновении к духу сильного – дух свой, гнилой и жалкий, постигаешь сполна. Но когда детвора вслед за тобой бежит и пальцем в тебя кажет, тебе не так горько, потому как знаешь, что такой и есть ты, таким уродился. А вот когда душу из тебя вынут да еще и покажут, как ее черви тщеславные жрут, жрут и жиреют, – вот тут тебе и тошно будет, как никогда еще не было.

А ведь таким сильным я себе мнился: колдунов я по нарам да по больницам растасовывал, судьбами людскими вершил одним движением пера. Знавал много и знанием этим много пользовался. А *по делу* вышло, что и не знал я ничего вовсе. Вот так. Вот так. Вот так.

Послушай-ка вот еще, что зачту. Это как раз тот день, когда твой Ракшиев, якобы, не был на допросе и что-то там упустил. Почему-то сошлось так, что и у него в *протоколах* этот день выпал, камнем канул куда-то. Ну а у меня он записан в целости и справности. Вот ты и послушай, чего в фантазиях своих не доглядел.

Стоменов

Стоменов: Знавал я одну женщину еще до войны, звали ее Валентина. Была она особливо людям немила, люд ее сторонился, а все потому, что как речь заведет, так худо вскорости слухателю ее делается. Будто бы захворал он. Хоть слушает тебя, а хоть сама говорит, все одно, болезненным ее слушатель делается. Или хворь на него нападает, или сил лишается, как будто работу тяжелую исполнил. И баба-то видная, и кавалеры охаживают, и сама она к ним с расположением, а отходят они от нее и не задерживаются. Живет одна одиноко, и подружков у ней нету, тоже ее сторонятся, хотя и мила она, и добра, и приветлива, и даже подсобить в беде всегда охочая. А вот нет, худо все получается, болеют от нее люди. Так и прожила она всю жизнь одинешенька.

Ей бы возгневаться да лютовать почем зря на первого встречного, и то бы польза вышла. Ан нет, все у нее хороши, всех она привечать готова, никому отворота не даст. Людишек манит это сперва, такая разлюбезность, а потом они хворают и более уже сторонятся опасливо. А потому все, что на вершинке-то одно, а на донышке иное, и раз ты брюхом

уже весь к ней поворотился, как щенок, которому пузо чешут, то впрок умнее будешь, и зверя домашним животным мнить не станешь, даже если он и ластится к тебе. Знала бы Валентина эта, что за сила в ей бродит, знатной колдовкой могла бы быть. Да только поистратила она силу-то свою почем зря, на суету суетную, на людишек случайных.

А был бы нашенский если, то человеку не просто слова добрые и расположение покорное, а и впрямь послабление вышло бы. Рана какая давняя зажила бы. Болезнь неизлечимая его тело оставила навсегда, дело важное справилось. А потом *вдруг и помер* человечишко этот, нечаянно как будто.

Или захворал еще шибче. Или расстроилось все у него окончательно и опустошительно. А почему, Сергей Дмитрич? Да потому, что он самолично брюхо свое подставил, нутро свое на выест отдал. Делай что хошь: хошь – кровь ему омолоди, а хошь – попорти ее, весь он в распоряжении твоем, без остатку.

Потому и котенок даден, чтобы осилить, значит, науку нашенскую. Почуять его надобно, прежде чем обережную себе зачинать, приноровиться к духу его, расположение сделать. А только тогда и уваривай. А вы, городские, вишь, какие скорые: и шагу не ступил, а словно царем уже сделался. Много ли силов надо, котенка придавить слепенького? Он уж тогда с волком бы состязался, все больше проку выйдет. Прикипи сперва, всю подноготную себе к сердцу приложи и силушку *срасходуй*, чтоб нужное к тебе само брюхом поворотилось, а после уж тогда и делай, чего хошь.

Следователь: Знаешь, о чем подумал я, Андрей Николаевич?

Стоменов: Да знамо, знамо, все о девке моей выпытываешь, уразуметь хочешь. Но ты не торопи, а слушай востро: перед девкой этой еще и собака есть. Только если на кота год мы имеем, то собаку три уже года охаживать тебе надобно. Ну а ребятишку напоследок надо девять лет в сердце своем носить, заботу ему давать. И тока тогда его мертви. А не вышло если девяти, то поворотись назад, и все сначала зачинай, пока не довершишь начатого так, как

положено.

Девку я *схитил* из дома, где бабы рожают. А если вернее сказать, то не схитил, а уговорил на это человека там одного, а он мне и вынес. А как уж там потом у них было, я не знаю.

Горбун

Видишь, как оно просто было, а ты-то расписал, раскудахтался, такие тайны напустил. Он мне сам указал и на дом этот, и точную дату мне выдал. Хотел я наведаться туда немедля, но не вышло как-то, возможности не выпало, суетное времечко тогда было. Но через три года, в восемьдесят первом году, когда я прилетел в Софию повторно, я туда заглянул да и нашел, чего искал. Легче, чем ты можешь это себе вообразить.

Смешно сказать, но посодействовал этому Ракшиев. Своею смертью. Ибо мы уговорились с доктором, что, если на него найдет какое просветление, он мне позвонит. Увы, нашло на него совсем не то, на что я втайне надеялся. С того момента, как я видел его в первый и последний раз, он более ничего уже не писал и ничего не рассказывал, а впал в молчание, и больше от него никто не услышал ни единого слова. Вот так три года и промолчал, пока

не умер. Моею властью он был неприкасаемый, его даже в отдельную палату перевели, от всякого безумия подальше. Увы, ничего не помогло. Так и унес он в могилу свою тайну. А то и две сразу, ибо в том же восемьдесят первом и Сударушкина на тот свет отправили, ты помнишь, кто таков? Душегуб это детский, про которого Стоменов сказывал. Вот аккурат в восемьдесят первом и казнили его.

Девчонку я нашел сразу, в этот день был зафиксирован только один смертный случай. Вот только меня ждал нехороший сюрприз: упоминание было, а сами документы были изъяты. Причем очень недавно, и на официальное лицо, с разрешением. Я почуял подвох, но и тут все оказалось проще пареной репы. Человек *по нашей линии* работал над диссертацией, а тема ее была, дай мне памяти, что-то там про *психоэнергоинформационную ассиметрию*. Я не очень хорошо понимаю, что это за такое, но скажу, как понял со слов.

Если говорить просто, суть его работы сводилась к тому, что если плохо кому станет, то и другим его близким людям оно тоже откликнется, а если хорошее, то никому не аукнется.

И если ты кипятком ожегся, например, тогда жди, что с кем-то еще из близких твоих беда приключится: «горе одно не ходит», как говорится. А вот счастье почему-то ходит одно, и другим передаваться не торопится. Вот над этой загадкой человечек и колядовал. Собирал разные факты и случаи, копался в архивах, библиотеках, сводках. Вот и нарыл, нашел случай просто удивительный, как за один день всю семью, четверых, в разное время и все в разных местах как корова языком слизнула. Подчистую.

Мужичонку сбивает грузовик. Мужичонка возвращался с работы и чего-то ради решает вдруг перескочить дорогу, а не зайти в подъезд. Кажется, он газету намерился купить. А может, увидел он кого знакомого, и метнулся? Если бы не метнулся, то зашел бы домой и обнаружил бы там жену на кухне, мертвую. Ее током убило, проводок заголился. А раз не зашел, то прямо под машину и угодил, мозги потом с тротуара совком собирали.

В тот же самый день, практически в то же самое время, их пятилетняя дочь тонет в мелкой речушке, где в жизни никто никогда не тонул. А ее дед, у которого она гостевала, – то ли умом нарушился от горя, а то ли уничижая себя за то, что не доглядел, – снял он ружье со стены да и себе в живот пальнул. Вот так.

Может, деду бы и в живых одному остаться, да только не знал он, как дочери сказать, что утоп ребеночек их, потому как уже одного потеряли они. Умерла их первенка сразу после родов. В том самом доме родильном и в тот самый день, о котором Стоменов сказывал.

То бишь, как ты уже понял, наверное, не умерла она, но сказали им так и думали они так. Я с этим человечком покалякал да и оставил его, главного не открывши ему. Слизнуло их как раз в канун того дня, когда Стоменова арестовали. Значится, не только девку он убил, а еще и родню ее за ней уволок, всю скопом. Вот тебе и «горе одно не ходит», куда уж там оно не одно! А хуже всего, что не понять мне: случайность это или намеренность какая-то.

Напугался я тогда панически, напился со страху, полгостиницы заблевал. Три дня потом отлеживался, болел. Ну да ничего, отошло и отлегло понемногу. Вот такая, друг ситцевый, вышла у меня история. А чего ты в книге написал, так *намысел* все это. Лучше *слово его продолжи*, а сказы сказывать я и сам большим мастером буду. Вот так. Вот так. Вот так.

Вит

Мне принесли воды, и я жадно выпил полстакана. Горбун продолжал вышагивать, словно цапля. От стены к стене, от стены к стене, от стены к стене. Некоторое время мы молчали.

– Растолкуй мне вот какую вещь одну, – наконец нарушил молчание он, продолжая мерно ходить из стороны в сторону. – Поведал я однажды про магию силы смертной человеку, в тайнах других душ сильного. Несильно рассказал, осторожно и немногое. Вот он слушал и слушал меня, а потом и сказал, что магия эта, получается так, звериное начало в человеке очеловечивает, а человеческое, напротив, зверем делает. Как это понимать?

Дескать, все люди рождаются как бы зверем, но постепенно людьми делаются, а звериное прячется в умах глубоко-глубоко. А смертная магия, напротив, человека в зверя приручает постепенно. Из этой их глубины зверя изымает, и человеческое нутро им пропитывает.

Но ладно еще, кабы вот так. Тогда оно знакомым будет, и в жизни это встречается. Война, например, когда идет, или голод сильный: и просить не надо, сам этот зверь голову кажет. Или, рождаясь, будущный человек со зверем легко сродниться сможет. Потому как и сам он зверь изначально. Читал про Маугли? Вот, я о том. Бывает такое взаправду.

Но дивно то, что в то же самое время магия эта зверя своего приручить старается, больше человеком его сделать. *Удержи*, например, эти многочисленные. Вот и получается, что на человечье место натура прививается звериная, а на звериное место, напротив, человечья.

И выходит так, что глянешь на человека поверхностно, и человека увидишь в нем, но если глубже заглянуть, то зубы ощеренные узришь. А маг этот, напротив, сначала тебе кажется зверем лютым, а когда лучше его постигнешь, истинно человека увидишь. Как это понять?

– А что тут понимать, Сергей Дмитрич? – пожал я плечами. – Ты и сам доходчиво сказал.

Я лишь дополню тебя, что люди есть такие, многие люди, которые звериную натуру свою человечиной сделать пытаются: зверя из себя вытравливают, получается. Но человеческое у них при этом человечьим остается.

Или, напротив, есть люди, которые рассудок свой на пир зверю своему подсознательному ссужают без остатка: зверьми живут они, зверьми они и умирают. Но при этом звериное у них остается.

Или можно, наконец, со зверем своим примирения искать: как человек по лаю собачьему различить может, плохой к ним человек в дом вошел или хороший.

Но вот то, что ты сказал, звучит необычно и ново для меня. Я не пойму, как такое может быть. А более всего, я не знаю, зачем такое нужно делать с собой.

– А я знаю, мне сказали, – перебил горбун. – В человеке искренности нет той, какую зверь имеет. В нем нет беспечной жадности жить каждую минуту на свете белом. Чутья в нем нет звериного, что природою дано было.

А в звере, поперек, нет той мудрости, что человеку дана. И нет у него пути более высшего, чем забота о животе своем. Вот он все и перевернул наоборот: и человека озверил, а зверя

приручил он своего, лучше многих иных людей содеял. Вот так.

Я промолчал.

– Я его путь хорошо на себе примерил, – продолжил горбун. – И днем вся *сила* в темноте ночи содержится, а ночью, напротив, в ясном дне твоя *сила*. Не ищи более там, где нашел уже, ибо за спиной у тебя то, что ты ищешь. А поворотился только, и оно опять за спиной стало. И так, от раза к разу, ухватить это пытаешься. Вот и слабят себя, чтобы силу найти.

Вот и любят других, чтобы душу отнять. Вот и смерти кланяются, чтобы жить крепко. Вот и живут они, чтобы смерть принять. И умирают они, чтобы жизнь иметь вечную. Поди-ка, пойми, как это все уложить воедино. Потому и надежду на тебя имею, чтобы досказал мне слово его *недосказанное*. Скажи только его мне, и с миром тебя отпущу. А уж каким будет оно, так тому и быть. Вот так. Вот так. Вот так.

Стоменов

Стоменов: Помнишь, Сергей Дмитрич, как я про кошку ужо тебе сказывал? Как уморить врага своего? Кошку когда схоранивать надобно? Припоминаешь?!

Так это – *для простаков* выдается. Да и то с оговором. Потому как разве не проронят они слова три дня?! Сделают ли все, как положено?! Куды уж там! Сразу с концов и начнут, чтобы побыстрее дело сталось.

Но даже если и сделаешь все так, *как велено тебе было*, в справности, не нарушая ничего, – одно верным будет, что

слабого духу этот человек выходит, раз такое *велелось* ему.

Ты вот приказы по людям разносишь: меряешь, поди, кому полегче дать, а кому сурьезнее шаг можно доверить? Так и у нас тоже станет: *духу немощному* мертвить кошку повелено, камушки в знаки смертные сочетать. Но *духу сильному* – к кошке ентой прикипеть должон сперва.

А потом и случается так, что колдун глупый, пукалка лесная, кто порчу, болезнь и смерть сделать силится – сам опосля болеет тяжело, в кручину впадает, лицом чернеет и нутром слабеет. Потому как зверь ентот, с которым он соперничает, тоже зубы кажет, живот свой оберечь пытается. А если кривошеевский колдун-то будет, то он, *порчу насылая*, только в силу войдет.

Почему? А потому, что недруг *самолично животом к нему поворотился*. А опосля такого, печень ему сгноить, кровь попортить и желчью отравить – дело нехитрое, забава легкая. Только разыграешься да раззадоришься. Ты, когда расстрел делаешь, сильно хвораешь?

Если суметь, как Никола ведовал, кота оходить, то пес уже легким будет, а человек и туды подавнее. С собаки уже никакой обережной делать не следует, в тебе и так силушка ходит исполинская. Только уварить собаку и надобно. А с обережной своей, от кота, расстаться должно: слаба она уже тебе, как если одежи дитя на мужика взрослого натянуть пытаться. Что захочешь с ней, то и делай теперь: хошь, в дело какое пусти, а хошь, выбрось, тебе все

нипочем будет.

Оть, забылся сказать я, Сергей Дмитрич: если складно все сделать, то кот тебе ентот в сны захаживать будет. Кот до *девяти дней* хаживать может, собака *до сорока*, а человек целых *тринадцать лет* будет мочь. Пришел, поигрался и порезвился, поластился к тебе. Будто и нет у него думы на тебя обидной, что ты его извел. Вот и хорошо тогда все.

А если он не покажется, то тоже ничего будет. Но вот если позже срока своего крайнего хаживать начал, а то и иные какие сны тебе, а не такой, как сказано, тогда вот и худо. Не сделал, значит, дела своего положенного. Тады криком безмолвным кричать следует, чтоб подсобили тебе, не мешкая.

В жизни, Сергей Дмитрич, похожим это будет на людев, что говорят речи ласковые, а все худое отмалчивают, до нужного часу берегут. Ты тады к ним тоже брюхом поворотишься, а они и саднут тебя ножичком вострым. Но они тоже слабее будут: с одного ведра потому, что думу худую изначально в сердце своем носят, а с другого ведра, потому как *деяние* и *слово* завсегда в пагубе их содержатся. А кривошеевские, Сергей Дмитрич, с одного ведра дурного не мыслят, а с другого – безмолвною силою творят, без ножичка режут.

Кулаку да ножу *рядом с тем* должно быть, кто паскуден духу твоему. А моею силою если – то хоть за окияном можешь быть, не укроешься, не спрячешься и не скрадешься. Ан еще и сам на белый свет выкажешься, оттого что послабление ощутимое тебе вышло.

Вот и рассуди меня, Сергей Дмитрич: если претит меня от недруга моего, как тогда, скажи мне, послабление ему я сделать должон? Рану какую его заживить? Дело его справить? Не по силу мне было бы такое. Прикипеть сперва к нему надобно, почуять остро каждую его мыслю, каждый вздох, каждый шорох сердечный. Вот тогда полдела и справилось.

Тогда и он с тобой яшкается, охоч до тебя становится. Любо ему с тобой быть-находиться. Тут и делай свое, что положено: и почуял ты лучше его, и слабину свою тебе выдал он.

Потому и говорил Никола, в особенности бабам нашенским: «Пущай любовь твоя морем-окияном сделается, чтоб *любый* тебе жажду свою утолить смог, – тока самой тебе капли любви его пить не должно». Для бабы, Сергей Дмитрич, это особенно важным будет, ибо занравится ей кто если, на веки вечные стелиться подле нее будет, в зверя ее покорного оборотится. И более никто уже люб не будет ему на свете белом.

Следователь: А надобен ли бабе мужик-то такой? На что он ей? Какой с него прок станет?

Стоменов: Бабе всегда мужик надобен, на то она и баба. А что псом покорным станется, в этом беды нету. Зверь в клетке зверем меньше не становится, тока выскакнуть не может.

Вот и выходит так, что у одной бабы – кот плешивый, шелудивый да вороватый, а сладить с ним не могет, а у нашенской – будто медведь огромадный, а держит она его смирно. Не главное, мужик каков, а главнее будет, как совладаешь с ним. И у справной бабы мужик в покорности, а уж каков он будет в интересе, она сама наметит и возьмет.

Следователь: Постой-ка, Андрей Николаевич, неправда твоя! Как сам если любишь, тогда и поворотились к тебе, брюхо подставили. А как тебя если кто, то без нужды оно делается вам. Одно ведро на коромысле не носят, второе

надобно, для равновесия. Поворотишься и сам, в таком случае, тоже брюхо свое подставишь.

Стоменов: Это по незнанию если, а знаючи когда, то примеришь прежде. Посуди, если ты хвори многие людские исцеляешь, то их знахарства к себе не подпустишь, когда если сам занеможешь. А если и подпустишь кого, то примеришь сперва основательно, какою силою человечишко подсобить тебе собирается. Верно говорю? Вот так-то!

А людишки же, напротив, любых исцелений жаждут, лишь бы *смогло* им. А потом они у ног твоих расстилаться зачнут, угодить тебе запытаются. Тут ты их и не равняй своему и без нужды от них оставайся. Тогда твоя воля привязывать, а им выходит привязанными быть. А коли не нуждаюсь я, а *нуждаю* только, то и станет поперек того, что ты говоришь: многие люди брюхами своими повернутся ко мне, а моего не узрят.

Следователь: Гладко стелешь, Андрей Николаевич. Только любовь завсегда *слабит*, а ты ее силою называешь.

Стоменов: Слабит того, кто нужду имеет, а коли нет ее, какая тут слабость? Вот тебе если встать и выйти, положим, то разве убиваться я буду по отсутствию твоему, хоть и люб ты мне? Ан, нет, Сергей Дмитрич, это тебе худо станется, что меня нет рядучи. Сыскать меня захочешь *заново*. А найдешь, хорошо тебе сделается. А мне же от твоего ничего не надо: и если ты рядом, мне любо будет. А нет тебя, и не вспомню больше, будто и не было тебя вовсе.

Слово мое сердцем уразуметь можно, и то сильнее выйдешь, а кады делом его подсобишь, науку нашенскую постигнешь сполна, тут и осветлится весь мир перед тобой. Сам потом вихры чесать в удивлении зачнешь, как сперва обо всем разумел ты. Удивляться да мне в ножки кланяться. Что, Сергей Дмитрич, насмехаешься, чего зубы лыбишь? Али смешное я сказывал тебе?

Следователь: Ты, Андрей Николаевич, подчас не столько сказ сказываешь, сколько песни поешь, вот и потешно мне. Не серчай. А еще я вспомнил бабку одну, ведунью, с Вологды, так она всегда поговаривала: мол, сперва за яблонькой-то *поухаживай*, а потом и кривись, что кислое.

Стоменов: А то и верно. Слаще меда тады покажется яблочко это. Вот так и сам, Сергей Дмитрич, сидишь да кривишься подчас, меня слухая. А делом кады станется слово мое, и прозреешь тогда.

Горбун

Другому непросто поверить бывает: царей не сочтешь по свету, а сердце одно будет, всем его не распушишь, как веник на прутки. Но это не беда. Худо в том, что себе поверить ты не осмелишься, словно боишься чего. Так и проживешь притворенный: одна радость тока и будет у тебя, над людями потешиться. А им от потехи твоей запазушной не плакать и не смеяться. Так и сдохнешь, один-одинешенек – ни смеха их не услышать тебе, и ни слезами ихними напиться досыта.

Ты не верь мне, ты себе поверь. Потому как раз слово тебе было дадено, то еще и еще тебе услышать его под силу будет. Я вот рядом был, но большего не услышал, чем сказано мне

было, а ты в отдалении большом, а *более всех вместил*. Я и сам после пробовал, люди мне подсказали добрые, как зазвать *оттуда*. Да только молчит он более со мной, слова сказать не хочет. А почему так, не ведаю я. Потому и нужду в тебе имею.

Не знаю я, поверишь ты мне или нет, только приходят они *оттуда*. Из царства смертного приходят по зову твоему. И хоть далеко не каждый явить их может, но если по силам, то почти любого *зазвать* можно.

Ни молитв читать не нужно, ни свечек возжигать. Ничего особенного делать ненадобно. Просто сядь тихо, в уединении, глаза свои закрой да позови мысленно, кого захочешь: тут же он пред тобой и покажется. Это мне один колдун хуторской науку дал. А слова молоть да ладанки жечь для заучек будет. Тогда и верится им.

Одна беда только, *говорить они с тобой не хотят*. А если и скажут чего, то нехотя очень, через силу как будто. От тебя поскорее отделаться жаждут. А то и молчат вовсе.

Была одно время мысля у меня, как далась мне наука эта, спрашивать их о том, где и когда прифартить мне может. Им-то, на том свете, повиднее будет. Но только обозляются они в этом случае страшенно и потом не приходят к тебе вовсе. А почему злобятся они, почему гневаются, не знаю я. Перестал я их об этом спрашивать, и смирились они немного. Но все одно, неохотно им с тобой, будто с души воротит. А отчего мутит их так, тоже не скажут, словечком не обмолвятся.

Научу тебя, как делается это. Комната прежде тебе явится, без окон, без дверей: ни стенок там не углядишь, ни мебели никакой нет, а одна только скамеечка и есть. Чтобы, выходит, сел на нее тобой зазванный. Только подумай о нем, он уже и здесь. Ни слова особые тебе ненадобны, ни тьма ночная, ни свечи зажженные: хоть и в ясный день явится перед тобой любой смертный, как подумаешь только о нем.

Одно только должно и быть, что дума твоя о нем, *зазывная*. Словно стоит он за дверью – *покойничек, призрак*, а ты войти его приглашаешь. Он тут же и здесь.

Люди сказывают, что когда углядишь комнату эту, то словно прикованным взор станется: ни поворотить его, ни увидеть еще чего более. А если и нескованным взор твой будет, то все одно, ничего там нету больше.

Только скамеечка одна да своды комнатные, мглою окутанные. Только *зазванного* тобой и увидишь, да и то словно в тумане: ни лица его не разобрать, ни одежды его, а одно только общее очертание. Тут ты с ним и говори. Только рта своего не разевай, думою спрашивай. *Думой и ответы получишь*, коли он говорить с тобой станет.

А говорить, как сказал я уже, не охочий он, словно воротит его от тебя. Иногда такую тебе злобу выкажет, что нутром оледенеешь от ужаса великого. Мне впервой бабка одна была, по желанию того человека, что учил меня этому ремеслу. Смиренно она речи вела, только больно горькими слова ее были. Долго отвечала на расспросы мои. А когда дед родной пришел мой, вот тут такою гневностью дохнуло меня, что едва не опростался я от страху.

Вот их и пойми, царство смертное: старуха чужая мне совсем, более ко мне поворотилась,

чем дед мой родный. А отчего такое выходит, не знаю я.

А еще наставник мой сказывал о том, что чем более *звать* умершего, тем меньше ожидай, что придет он к тебе. А приходит если, тебе кажется, то надуманным будет, с донышка это спесь да глупость твоя соскребная. Ленина али Сталина всем зазвать охота, да только вот не явятся они к людишкам этим, его зазываючим. Одно и только, что свечей нажгут, кому-то доход сделают. А более им не откроется.

Наставник мой это прибауткой толковал, что, когда бабе от кавалеров отбою нету, ледяной она может статься. И не воротится если к тебе, то маешься, а повернется если, снизится до тебя, то и рассудка можно лишиться, а то и жизни вовсе. Так и Ленин выходит: червяк ты для него земляной, один из тысячев. Ему до тебя интереса никакого нету.

Посему и осерчал я, когда по миру ты *слово*, *в тайне* тебе *сказанное*, пустил. Людишек, по глупости да по тщеславию своему мелочному, много сыщется, чтобы *его зазывать* начать. А чем больше его тревожишь, тем меньшую он охоту имеет поворотиться к тебе. Мне он ни слова более не сказал, вот и искал я долго, кого бы попытать на разговор с ним. Да вот так и не сыскал: все мельче и мельче людишки, пузы у них надуты больно, а в нутре у них черви копошатся. Одни только чины да *колены* и мельтешат, а силы никакой в них нет. А раз силы нет, настоящей силы, колдовской, то и остается, что щеки надувай да копыта золоти: авось, уверуют в тебя простаки.

А когда про тебя узнал, то и вышло, что как мать ребенка лупасит нещадно, что на крышу залез да свалился с нее. А сама будет рада-радешенька, что не повредился он, не убился, а ушибся только. Вот и стегает, но радуется. Так и я с тобой поступить был должон. Теперь *ничего не сделается тебе*, пока рядом я с тобой. В *целости и здоровости* будешь со мной.

Вит

Он все больше и больше впадал в простолюдивый говор, а я не мог понять, нарочно ли он делает это или само собой у него так получается, по мере того, как вспоминает он, в думы свои погружается. Я понимал его речи, но это постепенное его *перевоплощение* тревожило и пугало меня, а тоскливая неопределенность происходящего повергала меня в отчаяние.

Я уже не слышу этого шумного чавканья Стороженко, горбун наказал ему выйти, и он тут же исчез, как будто и не было его никогда. Но этот сладкий клубничный запах оставался в комнате, перша в горле и напоминая о себе острой иглой боли под правой лопаткой.

– Все же сноровко у тебя это сделалось, – цаплей вышагивал горбун по комнате. – Шибко просто, как я погляжу. Людям, чтобы карточку сыскать, до году надобно учиться подчас, а ты, на-ка, с *разу* то и вынул. А что до слов моих ранее, так это ж я для острастки одернул, чтобы не заторопился ты думать лишнего. Это бабу за щи славные похвальнуть можно, а с тобою нам похвальбы ни к чему будут. Вслед суровее спрашивать с себя свыкнешься. Так вот и сила давалась *им*: сумел одолеть *испытание данное*, улыбнутся тебе, да и только. Ни тебе пирогов праздничных, ни медалек царевых: сам осилил, сам с собой и порадуйся.

Ну а раз уж вышло и долго мне с тобой не валандаться, то дальше доскажу, а ты на себе и примерь. Люд деревенский всегда прост был, куда городскому супротив деревенского-то!

И, как Стоменов сказывал, что очи детские яснее видят, так и деревенский стократ вострее городского зрит. И сказы у них завсегда более мудрые, городской потом промышляет их.

Дух какой сиротный прикормлен, заботу и уход ему

дают. И могилка поближе, чаще к ней хаживают, добрым словом покойничка поминают. Вот и дается им.

Рассуди-ка сам: когда городской с духов злато себе запросит, судьбу у него выпытывает, деревенский мужик духу этому яблочко поднесет, мира-спокойствия пожелает да место теплое в избе определит. Тогда и благоволит дух второму, кто *его интересу* содействует.

Тока я не деревенского тебе прославляю, а к тому клоню, что по *его* словам *все проще* будет во сто крат. Мир-то тайный рядом с тобой будет, протяни руку да тронь его. Ни слов тебе секретных, ни ночей особенных, ни покровителей суровых, ни талисманов волшебных – ничего этого *ненадобно*. А кому надобно, так для того, чтобы взор свой затуманить, разум свой замутить. А иначе не верится им.

Вот ты опробовал с карточкой и познал, как легко получиться может. Рукой повел только, а оно и открылось тебе всецело. Потому как *нутром искал*, а не думой думал. А коли так, то и хворь можешь определить, и рану исцелить. И даже не нужен тебе человек рядушком, а где угодно он может быть, хоть за тридевять земель. Все одно, узнаешь легко. Узнаешь и поможешь.

Глаза закрой, позови *нужного*: тут же он пред тобой окажется. Теперь и поводи мысленно ручками подле него. Все очень похожее или так же будет: может, увидится тебе чего, или почуется, или толкнет под руку в нужном месте. Главное, что не думаешь ты, а слушаешь себя. Одного и бойся, что сам не поверишь сперва, что оно таким *играючим* может быть. Принимай с радостью все данное, и тогда еще большее будет тебе.

А ты глазами не хлопай, не хлопай, а на себе примеряй, чтобы *дело наше* справнее пошло. Сейчас я про живых людей тебе говорил: их *зазывать*, как и покойников, можно. Да и не хворит покойничек, отмаялся он уже. А живым это завсегда надобно. Как покойник к тебе по первому зову заявится, так и живая душа. *Разницы нет*. Но это опосля сам испробуешь, если захочешь. А пока зенки закрой да нутро свое *обслушай* внимательно.

Коленка ведь твоя ощущает себя сейчас, и рука твоя правая, и рука твоя левая, и металла к ним прикосновение, и плечи свои, и каждый мускул свой. Вот и думою походи, обслушай все внимательно, а я скажу, когда *нужное сделать*.

Он замолчал, продолжая мерно ходить из стороны в сторону. Я явственно услышал то, что шаги его разные: *ширк-вширк, ширк-вширк*, ширк левой ногой и вширк правой, а может, и ширк правой, и вширк левой. Тело мое затекло от долгого сидения, мышцы спины болели, зад окаменел, и в правой икре сильно кололо. Вдруг я замер, представив лишь на секунду, каково это ему чувствовать свой горб и таскать с собой эти отвратительные наросты. Это ощущение пришло так явственно, что у меня перехватило дыхание. Через секунду гадкое болезненное чувство исчезло, и снова только ширк-вширк, ширк-вширк, ширк-вширк.

– Я черканул на бумажке два слова сейчас, – заговорил горбун, и ширк-вширк исчезло, – а чего черкнул, опосля скажу. А пока хватит себя ощупывать, тока глаза не открывай еще, а словно внутри себя раствори их и вперед посмотри, не открывая. Увидится тебе комнатка

такая, как я ранее сказывал. А посерединке ее табуретка стоит или скамеечка. А более там нет ничего. Теперь и смотри внимательно, только зенки не открывай, на табуреточку эту.

– Вижу, – сказал я. – Только мне дверь еще справа почему-то видится. Может дверь быть или нет?

– Ну, пущай, раз видится оно тебе. Держись внимательно глазами табуреточки ентой, тока на нее и зыркай. Смотри, сейчас тебе человек покажется. Он сядет подле тебя, но ты пока с ним молчи, а мне скажи, чего видишь, уговор?

– Хорошо, попробую, – кивнул я, чувствуя, как наливаются теплом мои руки.

Я ждал, что откроется дверь, но этого не случилось, только, словно тень, прошло что-то. Я напрягся: мне показалось, это женщина, но разобрать точнее я не мог. И вернее всего надо сказать мне, что не *он* и не *она*, а *оно* подле меня сейчас. Оно покорно село, плечи понуро опустились – во всей позе угадывалось смиренное страдание. Я заметил также, что правая нога у того, кто сидел передо мной, была как-то неестественно подвернута вбок.

– Видишь чего? – вкрадчиво спросил горбун откуда-то издалека.

– Вижу человека. Кажется, женщина это, но не уверен я точно. Разобрать не могу. Сидит, и горестное от нее ощущение идет.

– Ну, ладно. Спроси-ка у зазванного, *как его зовут*. Только *про себя спроси*, а не голосом гычь. А то и не спрашивай вроде бы как, а подумай просто, а тебе и скажут, поди.

Я спросил. Человек напротив меня дернул плечами, словно вздрогнул, но ответа не было или я не знал, как его

услышать.

– Не говорит, не отвечает, – передал я. – Только дрогнуло чего-то, словно испугалось оно.

– Ну-ка, спроси еще тады, будет ли он с нами говорить? – торопливо зашептал горбун. – И ничего не иначь, так вот и спрашивай, как я сказал.

Человек снова дернул плечами и явственно кивнул. Вдруг он поднялся и метнулся вправо, к двери, откуда пришел. От неожиданности я вздрогнул и открыл глаза.

– Ты чего творишь? – завопил горбун, кинувшись к столу. – Ты зачем отпустил-то? Это не дело так поступать с *ними*!

– Ушла, сама ушла, – растерялся я. – Что делать-то было? Шасть, и нету ее!

Горбун прищурился.

– Ушла, ушла, – поддел ворчливо. – Так баба была, что ли?

– Да не знаю я! Не смог разглядеть, не увиделось мне. Только и видел, что вздрагивает да

нога у него завернута как-то неестественно. Как у тебя вроде, только иначе. Увечье тоже у него, выходит, какое-то.

– Ладно, ладно, *не трындычи*, – замахал руками горбун. – Баба эта, Галька хромоножка, я ее знал хорошо, шептунья была знатная. Даже *нашего человека* одного правила, помню. Ее и *зазвал* я сейчас. Понять только не могу: чего ж она тебе не открылась? И ничего-ничего, выходит? Никакого знака не дала, ни словечка не молвила? Это нехорошо.

– Да почему же не подала-то? – оживился я. – Подала! Она кивнула утвердительно, и тут же прыг в сторону, будто ее ветром сдуло. Словно испугалась чего… Сергей Дмитрич, так это, получается, вот так легко *любого-любого-любого* зазвать к себе можно?

– Погодь, помолчи-ка лучше, – цикнул горбун раздраженно, и я покорно затих. Так сидели несколько минут. Он пощипывал нижнюю губу пальцами, а я рассматривал его красивые ногти. Его остекленевшая сосредоточенность постепенно передалась и мне: в теле пошли теплые токи, лицо загорелось, а в глазах поплыло и затуманилось. Наконец, он очнулся, и в его руке вновь появились исписанные листы, с которых он мне зачитывал.

– Вот что, друг ситцевый, зачитаю я тебе дальше слово его, что ты не уразумел в писании своем. Многое мне неясным выходит, почему такое делается с тобой, но пускай так тому и быть. Тем паче, что и не твоя это воля будет, но *его*, а в чем она есть, мне не угадать. И раз уж *начал* ты, то полезай в кузовок. А не так если надобно было, то и не сидел бы ты здеся, со мной. Верно говорю, паря?

Стоменов

Стоменов: Так вот, кот и пес для силы тебе даются. И если освоил, то пуще тебя не будет никого. Сам себе ты царь и управитель делаешься. Силою мертвить и силою исцелять, как захочешь. В особенности, уваришь кота, и дастся тебе. Никола так сказывал: мол, уваришь кота, и словно зубы-то твои первенские отпадут, а сильные нарастать зачнут. А пес, будто мудрый зуб, прорежется. А кады к дитю прикипишь и сладишь с ним, тут зубам, значится, и выпасть должно.

Следователь: Как выпасть?! Как же так?

Стоменов: А так и выпасть, чего задрыгался? Мы ж с тобой, почитай, не вечные будем, к уходу в мир иной готовить себя надобно. Тебе опозже, а мне вскорости. А как, доложи, ты иначе сердцу своему смерть желанной сделаешь? Наша плоть жадной до жизни будет, вот ее *приноровить* к смертному часу и надобно.

Думой смерть можно опрометчиво приветить. А *духом* если смерти благоволить, то годы и годы тебе понадобны. Ну а *плотью* если самой пытаться, то и жизни не хватит всей. Вот и должон ты отдать ранее то, чему сам рад-радуешься, к чему сердце твое прикипело.

У одного от этого горе случится великое. У другого сердце окаменеет. А по-нашему если, то плоть усмирится. Только дума светлая останется, и дух нашенский в еще большую *силу* войдет, плоть покорною сделавши. Тады и тело скинется, как одежа поношенная, а дух в смертное царство *застремится*.

Тока вам, людям обычным, Сергей Дмитрич, не осилится наука наша, ибо путь вашенский одной только жизнью и мерите. Наш мужик с мальства себя к смерти приноравливает, ибо

ведает, что смерть – *начало новое* будет жизни его.

А вам – где ему начало, конец выходит.

Ты вот и сейчас меня слухаешь, да все к жизни своей слово приладить стараешься. А что до срока смертного, то невдомек тебе, куда его приспособить можно. Ибо одному только животу своему и научены вы служить. С нуждами расставаться повелено, а вы их только пестуете. Потому и сидишь, глазищами лупаешь, недоумеючи.

Но я, Сергей Дмитрич, ни тебя не корю, ни людей в целом, оно мне без надобности. И, по-моему если быть, ни мне, ни нашему роду радости не добавится, а вам послабление будет в смертный час. А не по-моему если будет, то вам самим и лопать слезы пригоршнями, а мне и не подсобить уже горю вашему *оттуда*, кады рядом со мной окажитесь.

И пока я *здесь*, то силу имею умершему нужду утолить, что в царстве смертном мается. А когда там я *буду*, то в силе великой стануc, чтобы земной душе посодействовать. Вот и выходит, что пока *здесь* я, в плоти и крови, то *смертная сила* великая в персте моем, в устах моих. А когда *там* буду – мне живое ближе станет: сцелю хворого, оберегу дорогое мне, подскажу надобное.

Следователь: Погоди-ка, Андрей Николаевич, повтори это еще раз, что сказал? Боюсь, не понял я мысли твоей.

Стоменов: Что непонятного-то? В жизни плотской смерть мне ближе будет, а как изойдет дух мой в царство смертное, тогда жизнь земная заботою станет мне. Сегодня мертвить я людишек в силе, но по смерти моей – *сила большая жизнь земную оберечь дастся мне*.

Следователь: И даже здесь противоположность, значит?

Стоменов: А то! Верно ты учуял, Дмитрич, везде она будет, противоположность ента. Вот и даже смотри, как с нашим выходит: кота уварил, и сила далась, собаку уварил, еще пуще стала она, сила твоя. Ну а как дите уварил, так и *ослабило* тебя. Вроде бы одно деется, как по-вашему судить, а по-нашему если, то разное.

Следователь: Вот и брешешь, Андрей Николаевич, заговариваешься! Сам только назад ты сказал, что в силу большую входишь, а теперь уже и слабит тебя.

Стоменов: Да цыц ты, юродивый! Я что сказал, справно помню. В силу дух мой входит, к смертному часу приготовленный. Посуди, если хворый лежит и мрет медленно, а подле него сама смерть стоит, в одежде белой и с косой вострой, то где сила будет? То-то! Так и для меня выходит: дух к смерти силен особливо, а к плоти теперь ослаблен. А не веруешь, то сам раскинь: сидеть бы мне тут, железкой твоей покованным, кабы в силе мне плотской быть? Потому я и здесь, что *позволено вам*.

А молчание мое ранешнее за каприз не держи. Сготовиться мне надо было, вот и молчал я с иными. А что с тобой разговор завел, так это случайно тебе выпало. Раньше чуток приди ко мне, и смолчал бы я и тебе тоже. Ну а как сделалось дело мое, то и слухай, раз интерес имеешь.

Горбун

– Если захотеть сыскать, то и жизни всей не хватить может, чтобы другого найти, кто силу такую имел, как он свою слабостью называл, от плоти и жизни уже отрешенную. А какова сила его во времена иные, когда плотским он жил еще, и подумать мне боязно. Ты вот про меня в книге сказывал, будто самым уверенным и доходчивым был. А взаправду меня так порой страхом пронимало, что потом холодным покрывался. Ну, и наружностью *другой* я выхожу. Это если тобой зачитаешься, так красав*е*ц писаный получаюсь, а на деле-то сам видишь, каков я есть. Хоть и свыкся я давно, а все одно, тошно смотреть на себя, горько уродствы свои ощущать.

А хуже того подмечать, что люди глаз свой отворотят, об тебя спотыкнувшись. Мне одно и любо-дорого сталось, что с колдунами да знахарками калякать: привыкшие они будут ко всякому уродству, не замечают будто, а то и располагаются к тебе.

Я когда книжку твою сыскал, сначала огневался сильно, а потом и обрадовался даже. Был и потуг переписать все воедино, ибо многое ты перетавокал неверно. Даже начал было, но бросил вскорости, путаться начал. *Доподлинное* пересказал тебе, а в остальном не ведаю, где оно *вернее* будет сказано. Я вот бирюлечки разные упустил, а ты, вишь, отметил их. И верно будет: в одном случае серчаешь, в другом смеешься, а в третьем от страху дрожишь. Так что уразумел я, что, как ни верти, мое-то беднее словом выходит против твоего.

Все, погляди, к твоему сложилось. И слово сказал верное, и Галька Берегиня, хромоножка моя, на тебя казала. А что недосказал, то у меня было в справности. И разумение мое тебе посильным вышло. И все аккурат таким же сделано, как и было оно. Так что *сготовься*, *с ним говорить* тебе нонче.

Помех я тебе чинить не буду, пускай все само собой сказывается. Обнюхайся сейчас, свой дух в спокойствие приведи. А как затеплеет, увидь-то комнатку опять да зазови его, тут и явиться он должон, незамедлительно. Ну, зачинай, зачинай, мил человек, не сиди олухом.

Вит

Я занервничал, на меня навалилось ощущение бессилия и тщетности. Угадав его Гальку, я воодушевился, и его просьба померещилась мне нетрудной: так иногда думаешь, когда у тебя вышел случайный успех. Но по мере того, как его надобно было повторить, я больше и больше впадал в тошнотворное неверие. Ощущение было такое, будто тебя *столкнули* с высоты, а ты не разбился и не повредился. И вот теперь с тебя требуют повторить фокус уже самому, самому *шагнуть вниз нарочно*. А ум твой охватывают страх и неверие, ты изо всех сил пятишься назад, ты не можешь, ты не сможешь, не сможешь, не сможешь.

Горбун, напротив, воодушевился: он метался от стены к стене, и его уродливо вывернутые плечи ходили ходуном. Он тяжело дышал, и когда он на мгновение поворачивался ко мне, я видел, что глаза его густо налиты кровью, а на губах белеют слюнные хлопья. Я закрыл глаза: передо мной разворачивалась картина безумия, на которую не хотелось смотреть.

Я заглянул в *комнату* и охнул от неожиданности: на табурете сидел человек. Я отпрянул и

открыл глаза. *Ширк-вширк* оборвалось: горбун застыл, впившись в меня глазами.

– Человек там уже, – прошептал я, – а я не звал еще никого. Сам пришел!

Горбун почесал свою сальную копну: на мгновение плечо его отворотилось назад, открыв мне раскрасневшееся ухо. Затем он снова начал расшагивать по комнате, ни промолвив ни слова.

– Спрашивать-то что? – заторопился я. – Чего молчите?! Спросить чего?

Горбун молчал, его *ширк-вширк* шипело и пенилось перекисью в ушах моих. Я мысленно выматерился с досады и снова вернулся в комнату. Человек сидел как ни в чем не бывало. Очертания его тела выдавали мужчину, весьма крупного, но его лица разглядеть мне так и не удалось, сколько я ни силился. Он явно был одет, но одежды также было не разобрать. Руки спокойно лежали на коленах, ноги были плотно сведены, и во всей позе угадывалось что-то примирительное и послушное, будто школьник сидит перед тобой. Неожиданно он поднял левую руку и, кажется, погрозил мне кулаком. Потом рука воротилась на прежнее место. Я замер.

Ширк-вширк, ширк-вширк.

– Он мне кулаком грозит, – зашептал я, не открывая глаза. – Кажись, кулаком он погрозил. Что делать-то мне, а?

Ширк-вширк, ширк-вширк.

Человек снова поднял руку и погрозил мне кулаком. Никакого слова не рождалось во мне. Я окаменел от растерянности, не зная, что делать дальше. Он снова поднял руку и потряс ею, и мне вдруг почудилось, будто это не угроза вовсе.

– Погодите-ка, погодите-ка, – заговорил я для горбуна, – это, кажись, не грозит мне он, это другое что-то будет.

Ширк-вширк. Пиширк-вширк. Пиширк-вширк. Вширк-пиширк. *Пиширк-пиширк*.

Человек хлопнул обеими руками себя по коленам, встал и исчез, будто растворился. Лишь на одну секунду мне мелькнула его широкая и немного сутулая спина. Я повалился лицом на свои руки, больно ткнув себя в скулу, почти до слез, стальной кромкой наручников. Так прошло несколько минут. Ширк-вширк. *Пиширк-пиширк. Пиширк-пиширк, пиширк*…

– *Пиши*! – Закричал я, отпрянув от стола лицом. – Пиши! Вот что он мне указал! Не угроза была это! – Загремел железом по столу, силясь *использовать свои руки*. – Отцепи, отцепи ты меня, покажу я! Пиши! Рукой он показал, не кулак это был! Пальцы сведенные только!

Горбун стоял у стола, навалившись локтем на столешницу. Краснота из его глаз спала, на губах уже не вскипало – видно, отерся или облизал. И только белесая вспенница под краем нижней губы выдавала прошлое безумие его.

– Пиши, значит, выходит, – скрипнул он несмазанной дверью, – ну, а то и пиши, раз так. У нас тут бумагов бездонно станет и чернила сыщутся. Щас, свистну, а секретарчик-то мой, *дюшенька обережный*, и снесет тебе надобное. Кабы

тока сказано было, – желтой осенью своей оскалился горбун.

Щека скулила кислой ускусной болью. Минутное мое озарение постепенно растворялось в грязной жиже беспомощности и тревоги. Горбун противно захихикал, прикрывая свой рот ладошкой и размахивая бритвой своего взгляда перед моим лицом. Постепенно шипение смеха его становилось все тише и тише, а лицо разглаживалось и успокаивалось. Когда он окончательно успокоился, я подумал, что сейчас никак не дам больше сорока лет по лицу его. Хотя ему, конечно, много больше будет.

– А ну-ка, заглянь, *он там еще*? – вдруг сказал горбун деловито. – Или утек? Заглянь-ка!

– Эка, очнулись вы, – изумился я. – Нету его там больше, и заглядывать тут нечего.

– Ну, *еще* покажется он, попомни, – уверенно отрезал горбун. – Как раз время дается мне, *слово его* досказать. Вот так, значится. Я дочту, а ты послухай далее, немного совсем слов там осталось. Тока в комнатку-то поглядывай, потому как воротится он повторно. Усвоил? Ну, слушай тогда.

Стоменов

Стоменов: Жизнь, Сергей Дмитрич, будто явь выходит, когда заснуть боишься, ибо страх великий тебе может присниться. Вот и маешься, маешься, маешься ты, и чем боле клонит тебя в сонную, тем и более страшно делается. Одно и темяшишь, что уснешь навечно: без снов, без страху, без мучениев. И все одно, ужас берет тебя. А сон, сам знаешь, каков он: в нем ты собой не велеешь, словно листом с дерева метает тебя от случая к случаю, от страха к большему страху еще. Пока в плоти цельный, ничего еще будет, пот холодный отрешь и забудешься. А коли бескрайним сон твой сделается, будто море-окиян? Вот она, значится, смертюшка-то твоя! И не проснуться ужо, рубахой своей не отереться. Не будет боле тебе послабления: на веки вечные маяться зачнешь.

Следователь: Так уж и *так*, Андрей Николаевич?! Больно уж солоны щи твои выходят.

Стоменов: Ну, так и не хлебай, раз солоно, я тебя не неволю. Тока вот, как сон страшный заявится, не спросивши разрешения, каково будет зрить его тебе, так и мука *посмертная* примется, сном навечным и неодолимым к духу твоему прикипит. Потому кривошеевский смерти благоволит, купает и кормит ее, как кутенка, чтоб, значит, брюхом к себе свернуть ее. Тогда она ослабится, а ты в силе большой выходишь. А вашенский жизнь любит, слабя ее тем самым, а смертное, поперек, усиливая против себя. Вишь, как оно выходит-то.

Следователь: Мудрено, мудрено, Андрей Николаевич. Как с врагом, выходит, со смертью обращаетесь вы. Того перед тем, как сгубить, от хвори лечите…

Стоменов: Пошто только от хвори говоришь, мы и другое могем, многое разное. С бабой желанной *случить* мужичишку можно.

Следователь: Ну, я понял, понял! Я для примера сказывал, чего мне твое-то повторять? И так вот: выходит, *врагом вашим* смерть будет лютым, раз вы ее так настырно слабите?

Стоменов: Отчего же это?

Следователь: Принцип, Андрей Николаевич, принцип!

Стоменов: Не знаю я, что за прынцып такой.

Следователь: Противоположность все твоя, Андрей Николаевич! Кто для вас *ближе* всего будет на свете белом? Да вы тока сами себе и выходите, кривошеевские да никитовские. Я верно говорю? Ну, вот. Что вы с собой наделываете-то, с родом своим кровным? С самого мала и до смерти бесконечные испытания вам даются, суровые, рисковые, смертельные. Я прав или поправишь меня?

Стоменов: Так и што? Сила же в ентом великая! Затем и дается.

Следователь: А то, что слабите вы себя для *силы*, а силу иным даете для слабости их. Вот и выходит, что смерть – это *вражина ваша*, потому как слабите вы ее, сближаясь с ней. А? Что смеешься, Андрей Николаевич? Я все верно сказал.

Стоменов: Опилок ты еловый, Дмитрич, право слово! Молоко молоком назвал, что целый день на солнушке простояло. Ты смерть как соображаешь: бабою с серпом, небось?

Смерть – *это сила сама и есть*. Смерть – *это закон великий*, он тебе ни другом, ни врагом не бывает. К землице тебя тянет когда, так это нечто вражина будет? Сумел одолеть его, этот закон, – так и полетай на фланерах своих. А не сумел коли, *убейся* тады об землю-то.

Остынь, Дмитрич, а то завтра с луной и небом звездным враждовать зачнешь. Со смертью ни враждовать ненадобно, ни задруживаться с ней силиться, а ее прежде всего почитать должно. Тогда она и ослабится супротив тебя.

Жизнь – она, Сергей Дмитрич, как фланер ентот. Если уразумеешь ты закон земной, тады и лети. Ослабил, получается, силу-то земную. Но после-то все одно, *воротиться* на землю должон. Так и мы выходим: сначала летать могем высоко-высоко, а потом обратно к земле ворачиваемся. Вот так оно будет у нас. Вот так.

Горбун

Вот и досказал я тебе до конца, чего ты сам не вместил. А остальное слово *его* в писаниях твоих содержится. Если со всей строгостью подойтить, то путаницы много сотворил ты, в днях наплутал, в интересе нашенском. Ну а одно, *слово его верное*, а что до оппозиции, то негоже там правду искать. Глупость недорогого стоит: хоть соврамшая, а хоть и истинная.

А то и лучше даже, когда такими дурачками опричники наши сделались в сказе твоем. *По уму* оно неказисто выходит, а *по духу* если судить, то самая правда и есть. Я вот зачитаю тебе малость, а сам и стыжуся, от глупостей своих говоренных. И кабы заново все сделать, так лучше *истребить меня* вовсе оттуда надобно. С корнями изжечь из землицы книжной. И тебя тоже бы *изничтожить* насовсем, вернее будет. А только *его слово* и оставить одно.

Я хоть и каюсь перед тобой, паря, а только ты носом не шибко задирайся. Многое от меня

глупостью было, а твоего тут и вовсе нету. Я от своего разумения спрашивал, а ты словно чужое услышал да на бумагу свел. Чай, не Мересьев будешь, по лесу зимнему пластуном не лазал. А расписать, как лазал, в теплой избе-то сидючи да кофу сладкую похлебывая, – много вас таких мудрецов сыщется.

Я, мил человек, твою подноготную исследовал, прежде чем повстречаться нам. Больно уж там справно у тебя все деется. Ломать – не ломало тебя, калечить – не калечило, болеть не выходило серьезно. Тонуть не топ, гореть не горел, враждовать не враждовал. Ни тебя где в свидетелях происшествия какого станет, а уж самому пострадать, и того паче. Чего, чего ты зыркаешь, раззыркался! Забыл, поди, где находишься-то? *Большее* в бумагах записано, а остальное *зазывные* мне сказывали. А у них, умеючи, чего хочешь, выведать можно. Вот и *выходит*, что отсиделся ты, будто мышь в норе: ни пороху нюхать, ни юшкой утереться.

Одно и есть, что артачишься только: я сочинил, кричишь громко, я замыслил все это! Да только куда тебе, *мыши норной*, удумать такое! Для этого жизнь целую прожить надобно!

Кабы не сидеть самому мне подле него – все одно, не поверил бы я бахвальству твоему. А тем паче, что сам живой свидетель сталсе. Вот так, паря. Так что ты *не шуткуй* со мной, а делай справно, что велится тебе.

Ну что там выходит, ты глядел? А ну-ка, оглянись, не вернулся ли он?

Вит

Бумагу мне принесли. Целую пачку бумаги, которую в принтер закладывают. На обложке я углядел фиолетовый штампик со словом «Принято» и корявую неразборчивую подпись.

Ручек было несколько разных, словно собранных в разных углах от нерадивых учеников, окончивших школьный урок. Одна мне приглянулась особенно: толстая, с прорезиненной насадкой под указательный палец. У меня дома такая же есть.

– Так что там? – повторил горбун. – Воротился он или нет? Зазывать не надобно, а просто заглянь, что там делается. Должон уже вернуться он.

В комнате никого не было. Я с запозданием отметил, что мне даже не пришлось закрывать глаза, чтобы узнать это. Мглистое серое очертание стояло перед глазами, мозолило взгляд белым пятном табурета. Затем видение разом спало куда-то вниз, будто сосулька с крыши отвалилась, и я столкнулся с неодобрительным прищуром горбуна.

– Нет там никого, – заторопился я. – Пустая стоит. А с чего вам взялось, что вернется он?

Взгляд его еще более прищурился. Будто сквозь щель в заборе рассматривает меня.

– Ну, вот взялось, – почесал он сало своих волос, отвернулся и опять заходил по комнате. – А то, поди, расцепить тебя надобно уже, ась? Так расцепим, дело недолгое, знай строчи себе без помех. Только одной руке поперек все равно сцепленной быть. Тебе какая рука-то надобна для письма, правая али левая? Левая?

– Правая нужна, правая, – заелозил я по стулу, силясь хоть как-то размять окаменевшее от бесконечного сидения тело.

– Как закажешь. Сейчас Андрюшка покажется и сымет. Ты только смирно сиди, уговор? А то он у меня суечения лишнего шибко не любит.

Я испуганно замер. Через несколько мгновений в лицо мне снова шибанул тошнотворный запах сладкой клубники. Я заметил, что ногти на руках Стороженко были обгрызены чуть ли не до самого мяса, а на мизинце его наметилась кровавая прожилка. Металл жалобно клякнул, и я с облегчением уронил вниз, под стол, освобожденную правую руку, разминая жимом пальцы. А руки Стороженко, мелькая мясом ногтей, умеючи щелкнули кольцом за крюк столешницы и исчезли из поля моего зрения. Только запах, этот липкий противный запах, остался со мной, перша в горле и затрудняя дыхание.

Горбун остановился. Край рубашки на его груди разошелся, и я увидел желтое тело горба, выпирающее из-под белой краемки. На вид ничего особенного, если не чувствовать почти физически ужасно выпирающую чужеродную и будто враждебную тебе часть тела. Будь со мной такое – я, наверное, жить не смог бы, я бы издох от ненависти к себе. А он ничего вот, живет, *носит себя* как-то.

– А глянь еще, не показался ли он там? – закивал он мне пальцем, подняв вверх свою руку, отчего край рубашки еще более разошелся, обнажая…

Комната вставала предо мной столь же легко, как открываются карты игральные, которые на стол брошены. Табурет белым пятном задрожал в глазах: вот так если словишь зайчика солнечного, то *пиши пропало*, не отцепишься долго, засядет он у тебя в глазах, окаянный, бельмом мозоливым да назойливым. Засядет, как пить дать, ничего тут не *попишешь*. Вот и зачнешь тыльнями своими по векам *расписывать*, отгоняючи его, а все одно, мерещит в глазах он, зайчишка этот.

– Ну нету его там, нету! – отмахнулся я, оправляясь от неприятного ощущения в голове. – Хоть ты кол на голове *пиши*, нет его там. Тихо, как на кладбище.

Горбун дернулся и внимательно посмотрел на меня, а я на него: кажется едино нас обоих осенила одна и та же пронзительная догадка. Но он оказался проворнее меня и высказал ее первым.

– Ну, раз кол на голове, то и *пиши*, – сказал с сильным нажимом на последнем слове. – Не сиди, не сиди сиднем-то! Глядишь, и впрямь выкажется опять на бумаге.

– Ну да, – проворчал я, примеряя ручку к руке. – А как потом отличите, его это слова или сам я их сочинил?

Ответа не последовало. Горбун снова заходил по комнате: ширк-вширк, ширк-пиширк. На мгновение рука моя замерла над снегом листа, словно боясь его испачкать. Затем я вывел первое слово, оно *родилось* уверенно и твердо – *Смерть*…

Стоменов (Вит)

Смерть сперва для духа людского облегчением чуется. Будто ношу тяжкую с себя скинул. Дите ли малое будет али старик дремучий – все одно, *послабление* тебе становится. И нету

никого на свете этом, кто в смерти своей – ожиданной али нежданной, долгой али скорой, легкой али мучительной, нарошной али случайной, – не нашел бы *послабления великого*. И пущай даже без облачка единого печали жизня твоя была, всецело из радости сотканная, а все одно, удивительная легкость станется с тобой.

Будто не радовался ты, а горевал, будто не смеялся, а плакал, будто не меды сладостные едал, а деготь горечный древесный. Вот каковой теперь твоя жизнь земная, *оставленная*, почудится тебе. Это *дух* из твоей плоти *изошел*, будто стрекоза полянная из своего плена выбралась: крылушки она расправила, шасть в небо и летать зачала. Словно всегда так и мотыляла, а не сидела, в темнице своей затворенная.

Коим света много видится, кто и себя углядеть может, а кому-то бывает и обратно войти в плоть свою. В последнем если быстро вернулось, то смерти пужаться перестает человек, а если долго потом без рассудка был, по болезни или ушибу какому, тады вряд ли доброго в его рассказе услышишь, если разумение к нему воротится. Но даже если и перескажет он чего, то не веруй, неистинное оно выходит. Потому как истинная правда станется в начале *дня*

третьего только от исхода от плоти духа твоего.

Два дня, по земной мерке, ты будто птицей небесной сделался. Такое во сне узришь иногда, бывает такое видение каждому: как летать зачал, как плоть твоя от землицы оторвалась да в небо застремилась.

Оно и во сне даже так, что блаженность невесомая слаще любого земного удовольствия, а по смерти нашей в тыщу раз сильнее сонного будет. А кто муку на земле принимал, еще и более того. Все, *в миру деенное*, другими людями устраиваемое, тщетным и напраслинным тебе обнаружится. Будто мураши по землице лазают, пропитание ищут да кров себе ладят.

Такое мелкое все, жалкое и ничтожное, глупостное и пустое выходит во взоре духа твоего, на мир земной глядючи, что и глядеть-то более не хочется. Одно только и есть, что шибко радуется дух твой освобождению своему, огромадным наслаждением пропитывается. Так и минуют два дня земных и две ночи земных, в безрассудстве блаженном.

Но с третьего дня поусытится радость твоя постепенно. Чувство закопошится такое, будто забылось чего. А вспомнить засилишься, то не дастся оно тебе. Обеспокоится дух твой да округ себя оглядываться зачнет, да только нет подле него *никого и ничего*. Себя чует он, но более никого не видать и не слыхать. Встревожится дух тогда. Радостное ушло, будто в воду кануло, и не знает он теперь, куда деть себя, куда направить себя. Мысли земные ему припомнятся, что думалось ему о царстве посмертном. Метаться он начнет – кто в розыске бога своего, в которого веровал, кто в поиске душ иных умерших, которым находиться на свете том в неисчислимом множестве должно. Всякий в разное верует, каждый свое ищет. Да только *не находится им ничего*. Ничегошеньки.

К концу третьего дня в ужас, невиданный и незнанный ранее, дух смертного приходит. От смерти чувство такое испытал, будто на твердое ступил, много лет по волнам метаемый, с мига на миг погибель ожидаючи. И вот она, земля будет, *твердыня твердая*, спасение его!

Но опосля искать зачнет другую душу живую, да только не найдет он никого, ни единой

душеньки иной. Один только он и есть. Ни зверя там дикого, ни птицы певчей, никого там нету, окромя его одного-одинешенька. Вот как на острове мертвом этом, так и в царствии смертном, – одного только и жаждать начинаешь, пускай бы тока не одному тебе остаться. Тады спасенный, на смертную землю ступивший, в окиян бросается плыть, а дух наш – на землю воротиться заторопится, к людишкам мурашливым, коих ранее оставил он.

И те, кого он уже букашками земляными *почуял*, опять для него дороже золота станут. Как из-за морей на землю родную воротишься да зачнешь по знакомым людям бегать, радуясь им, радуясь встрече вашей после долгой разлуки, – так и дух человеческий, на землю идя, в каждом чуть ли не брата кровного своего узрит. От третьего дня до третьей ночи, людей живых чуя, от уничижениях их до обожания оных преобразишься. Сначала они тебе были, словно жуки земляные, потом опять равными их своему почуял, а потом и вовсе нуждой в них проникся великой, дороже всего на свете показалась тебе их жизня земная, страстью и болью одолеваемая. И даже тот, кто жизнь свою потерял в страдании великом, пытаемый природой или недругом своим, – все одно, тока и хотел бы, что воротиться туда обратно.

Воротиться обратно легко будет: тока захотел, так и там ты уже, где помыслил. Ничего в мире смертном проще нет, чем назад к людям обернуться. Но вот им, земным, тебя уже не узрить более. Ушел ты для них *в никуда*, на веки вечные. Рассуди, оно и верным будет: нет тебе ни бога, ни архангелов, ни душ иных смертных, ни сада райского, ни пепелища адова, а тока одно бездонное *ничего* и есть округ тебя. Лети вечность целую, тысячу жизней, хоть устремись к звездам – не найти тебе ничего и никого, а пустынность тока одно и есть. Вот и потянешься-то обратно к людишкам земным, ибо как более не к чему тягаться будет.

Душа посмертная, от плоти отлетевшая, – она почти как человек земной и выйдет. Видеть – видит, слухать – слухает, чуять – чует все обостренно. Тока что вихры не почеши уже, в локте руку не согни, по коленке себя не хлопни. А так будто человек. Тока не видать дух земному люду, как будто и нету его вовсе. Хоть криком кричи, не услышат тебя. Явится в свой дом дух посмертный, а там все кручинятся, подле гроба с телом его сидючи. А то и схоронили уже, поминают его добрым словом. А он, вишь, рядом с ними, убивается более ихнего, сидючи где-нибудь рядышком. А то и вовсе за столом поминальным воссел.

Разное тут бывает. Я увидал однажды, как старуху схоранивали, а дух ее, значит, сидит на гробу своем, по плоти своей мертвой елозит, будто обратно залезти в нее хочет. Так вот он и мозолился до тех пор, пока крышку гробную не закрыли, утек куда-то. Но такое нечасто бывает, ибо дух посмертный к четвертому дню редко потерю свою великую смыслит. Это опозже приходит. У кого к девятому дню только, а у кого и позже того.

До девяти дней дух часто с родными своими ошивается, словно надежду чает. А опосля он уходит окончательно и ворачивается к ним очень редко, а то и вовсе никогда более. Я не ведаю чувства такого, но если хошь понять, что дух

посмертный чует, то схожее будет это с бабой, которая дите свое схоронило, а то и нескольких сразу одним махом.

Горе выходит ей великое, боль незаживаемая, мука изуверская. Вот так и дух посмертный в отчаяние ото дня на дню приходит, все горше и горше ему становится, постыльным и ненавистным все делается. Ибо самого себя схоронил он навечно, всего себя земле отдал сполна, а сам весь, от краюшка до донушка, земным пропитался, из земных чаяний дух его

соткан. Никому в земной жизни нет горя большего, чем ему эти минуты страшные.

Потому и схоронить человека умершего побыстрее надобно, ибо чем позже будет, тем ему большая мука выйдет, много горше схоранивать себя будет. *После трех дней и ночей* ужо *должно* быть схороненным ему. И тогда выйдет духу посмертному послабление. Не таким постыльным его мытарство станется.

После дней девяти отходит дух постепенно от земной жизни окончательно. Виться теперь ему в сторонке от людей земных, хоть и зрит он их всегда да не замечает только. Им его вспомнить, он и пошелохнется. Им его помянуть, ему и послабится чуток. Теперь только и живет тем, что думами земными, когда вспомнит кто его. И чем больше вспомнят, тем ему более и послабится. Худое вспомнят али хорошее вспомнят, невелика разница будет. Тут главное, что думы о нем человек земной держит. А пошто ненадобно покойничка словом худым поминать, это я опосля скажу. Да и не ко всем этот зарок верным будет.

Дух посмертный у всего живого на земле имеется, а не только у человека одного. Пущай и волк лесной, пущай и рыба водная, пущай паучок полянный – все одно, по смерти плотской дух их отходит в царство смертное. Тока вот у человека он самым сильным выходит. Оно и всю живность земную в одно-единое собери, а супротив человека слабее будет. А пошто так, неведомо мне.

В царствии смертном срок для живности короткий отмерян. Коли бабочка лесная, то и дня не пройти, а уже нет ентой бабочки, будто и не было вовсе. *Канула* насовсем. Никола нам говаривал, что истинная смерть настает не в земной жизни, а в царстве смертном. Смерть ента иная, чем на земле, выходит: будто слабость тебя одолевает все большая и большая, и слабнешь ты до тех пор, пока чуять себя не перестанешь вовсе, а потом и будто исчезаешь насовсем. Как водица в лужице под лучами солнца иссыхается. А иное и отойти в царство мертвое не успело еще, а уже и нету его, и не быть ему никогда более – ни в земной жизни, ни в посмертной.

У Николы медведь прирученный живал одно время, так по смерти он почти три года-то по мертвому царству похаживал. Но такое посему вышло, что это Никола его поминал, когда издох зверь ентот. А в большинстве своем животина и птица лесная не более сорока дней и ночей чаяться будет, а потом и канет навсегда. На земле у зверья разного – разные и сроки отмеряны будут, а в царстве смертном все равны получаются: никто никого выше не станется. А пошто так выходит, никому неведано будет.

Тока человеку одному и подлежит существование посмертное бесконечное. А если вернее сказывать, то подлежит, но не всякому сделается оно. И многие равны со зверем лесным в сроке посмертном сделаются, в безвестность канут навечно вскорости, по смерти своей. И если памятуют тебя в жизни земной, поклоны тебе ладят и слово о тебе молвят, тогда и ты в силу входишь, укрепляешься в духе своем. Ну а коли подох, а никто и не вспомнил тебя, будто бы и не было на земле тебя вовсе, тогда не обессудь. Тогда и в царстве смертном не станется тебя вскорости. Одно только и ладно, что сгибнуть тебе *навечно*, не принимая муку горестную для духа твоего, каковую иным принимать суждено. Собаке иной подчас легче твоего быть, ибо собаку свою умершую хозяин добрым словом всегда попомнит, а в тебе за всю жизнь и ни в ком нужды не стало. А там, где водица не пролилась и солнушко не попекло, живому более не быть. Ни в земной жизни, ни в посмертной.

А коли дух твой земными думами поливаем будет, тады и в вечность существование твое оборотиться может. *Долгость* бытия посмертного всецело станет думами этими меряться.

Воспоминает о духе твоем один человечишко, так и *канешь*, как тока забудется он думать о тебе или сам помрет от случая или от старости. А кады мильон воспоминают, вот тута в духе твоем сила великая появиться может, *бессмертным сделаешься*. Вот и говорят люди, что некто имя свое обессмертил, в мыслях завсегда будто живой сделался. Да только такое и для царства смертного правильным будет. Истинно бессмертным дух твой станется.

Потому и почитаем особо мы места погребные людей великих, ибо в духе их посмертном огромная сила имеется. Никогда таковые не канут. А если и канут, то столько еще жизни возьмут, что ни в какой земной нельзя взять. Тыщами и тыщами лет жизнь эта посмертная может быть.

Потому и сказано вам было, что худое ли думалось, доброе ли думалось про покойничка – а все одно, выходит у духа посмертного усиление, и канун его отдаляется безвестный.

Сотворил ты в жизни земной чего, что людям иным ненавистно будет, погубили они тебя за это. А когда расстался ты с плотью своей, тут и выходит, что жизнь посмертную и силу огромную тебе дают ненавистники твои земные, думы о

тебе постоянные думая.

Вот и получается, что иной человек, жука не раздавивший, канет в смерти окончательной ранее иной лошади или коровы дойной. А тот, на кого огневались и возненавидели люди, веками и веками дольше праведника посмертно прожить смогет. Оттого и мертвим мы людев, помеху чинящих, без зла на сердце: дабы *забветь* врага своего. Ибо в гневе твоем – его сила посмертная содержится.

Как и на земле *долгота* жизни своей мере подлежит, так и в царствии смертном все живое долготой бытия постичь можно. Тока живность земная от самой себя не зависит, и не дать им себе большего в посмертном царстве, даже если и захотят они того. Все одно, один у них срок для духа выйдет. Сорок дней аккурат, а опосля и *канут*. Но человеку посильным будет сколь угодно себе сроку отмерить в царстве посмертном. Одно только и надо, что в думах неисчислимых у людишек земных поселиться прочно, в сердце им запасть. Надеял такое, что думы у них не убывают о тебе, а то и *усиливаются* даже по смерти-то твоей плотской – вот и вошел ты в силу великую, дух свой обессмертил.

Ну и раз мы про *долготу* посмертную разговор держим, то одно помнить надобно: не тока себе, но и животному человек власть имеет дух посмертный укрепить. Годы и годы жизни посмертной даются от хозяина зверю его. Иная Марфа уже сгинула давно, а собачка ее все здравствует.

Чаще других случается у собаки жизнь посмертная долгая. Потом у кота. И напоследок у лошади. Только вот Никола нам крепко-накрепко запрет делал усиливать жизню зверную по смерти их. Ибо великая от того мука их ждет, с самым худым людским не сравнимая. Потому как не только одной *долготой* жизнь посмертная меряется, но еще и *справностью* духа твоего.

А *справность* – она как на земле имеется, так и в царстве смертном. Как в земной жизни у человека худо на духе может быть, так и в посмертном скитании духа его аккурат точно

так же могет быть. Вот тока в жизни земной по силам тебе дух свой осветлить, покойным и радостным житье свое организовать, а в посмертной жизне – невозможным это станет. И чаво нажал с землицы-то, то и покушивать на том свете будешь. Худо было, так еще хуже станется. А осветлился если, сумел путь-дорожку правильную найти, от тягостности своей поизбавиться, тогда и в посмертном царстве легко и светло тебе будет. Потому-то и путь у нас особенный, ибо более всего живем мы в земном для посмертной будущности.

А посему и выходит, что люд наибольший, кто всю жизню свою на плотское поистратил, в царстве смертном оказавшись, на землю обратно захотит своротиться, ибо нет в духе его ничегошеньки, кроме одних плотских желаниев. А плотское все на земле, в жизни земной осталось. Чем в жизни земной кормился, тем в царстве небесном подчуйся. Так и маются мильоны и мильоны душ по царству смертному, муку великую принимают. Принимают за то, что не дается им страсть свою утолить, жор свой насытить. И не утолить ее, не унять ее. И не прекратится она до тех пор, пока не канешь ты, людями земными забытый. Одно и моли, чтобы позабылось им о тебе поскорее. Тогда в ослаблении своем и гибели скорой избавление себе сыщешь.

Охочему до еды муку бесконечную голодную в царстве смертном принять предстоит. Всю свою жизнь он плоть свою кушаниями ублажал – вот там и взалкает он. Гнев свой копил ты если на недруга, да так и не осилил его по жизни своей, то с собой этот гнев заберешь на тот свет, от бессильной муки маяться будешь. Даже тогда, когда враг твой сгинет в жизни земной, равным твоему сделается, – все одно, страдать будешь неутешимо и бесконечно.

Сморозило если до смерти, то лютый холод вечный должно принять тебе. В огне погорел, мукой огненной и по смерти веками маяться будешь. Так и выходит любому человеку: что с собой унес в царство посмертное, тем и сытым станешь. Унес горькое да больное, так и там горчить и болеть зачнет. А унес светлое и смиренное, то и на века бытие посмертное твое осветлится, легким и *справным* путь твой станется.

Оттого кривошеевский да никитовский сызмальства о смерти печется, дух к ней норовит. Но и в этом противоположность выходит, потому как многое в земном пути для земного и делается. От смерти худой поберечься, чтобы с собой ее не забрать на тот свет. В силе укрепиться, дабы страданиев от людей вражных не принять. Испытать себя сурово, ибо истинная сила колдовская в духе будет, и сила эта только испытаниями познается. Плоть содержать в справности, а иначе плоть болезная дух хворью и болью напитает. Наконец, велено нам умирать ранее, чем могли бы еще землиться, – в силе духу оставаться должно.

А, в остальном мы подле смерти завсегда ходим, дух свой к будущности приноравливаем. В расставании легком с дорогим тебе. В примирении светлом с опостылым тебе. В удерже от вожделения разного, только одним духом своим и питаючись. Вот так и выходит у нас: с одного глянешь если, покажется, будто для земного деем, о земном заботу держим, а как с иного уразумеешь, то и откроется тебе истинная нацеленность нашенская. А соединишь если все воедино, тут и постигнешь, что все земное лишь для небесного одного и делается нами.

В царстве смертном душ умерших – неисчислимые тыщи будут. Вот только не видят они,

и не слышат они, и не чуют они друг дружку. Но не потому, что нельзя так, а посему, что ничего в духе их не имеется, кроме боли и жажды тоскливой на землю назад своротиться.

Оно и баба если потеряла дите свое, то каково ей на мир теперь смотреть будет? Постыло ей все, тошно ей все, горько ей все. Одну только думу теперь и думает, как бы обратно все поворотить. Что ей теперь до других? Так и с духом выходит в царстве смертном: не один он там, а если и обнаружится это ему, то не захочет он сам ни видеть ничего, ни слышать ничего.

Сначала, до девяти дней по смерти, нередко желание есть с другими душами свидаться, да только не дается это пока, сподручиться на это надобно, приноровиться должно. А когда сноровился, то тебе уже и нужды нету, охоты нет, а одна только тошнота тошная, горе горемычное, боль болючая. Потому в царстве смертном больше всех поодиночке обитают, друг дружку не видючи, а только в сторону жизни земной и зарятся да тоскуют звериной лютостью.

Дух посмертный всезнаючим для земной жизни будет, ибо все ему, как на ладони, в любом месте оказаться может, а то и в десяти местах зараз. Случается, что дух охоч к зазыванию, а то и сам, без зову, явиться захотит. Пущай, в оном случае, хоть город огромадный людев земных зазывает его к себе: всем он явится в тот же миг, без промедления. А как таковое могет быть, не ведаю я. Но такое, чтобы дух охочий был, очень редко бывает. Более всего дух посмертный затворником живет: мукой своею точимый, злой тоской по жизни земной истязаемый. Брат ты ему али сват, муж али жена, друг али враг покойничку-то, а все одно выходит – одну только тоску свою великую и выкажет тебе. А то и так злобой дыханет, что сердце зайдется.

И с любой стороны виноват ты супротив него: если гневался, то потому и далее гнев держит, что не извел тебя под корень. Если любил, то мечется и мается, что потеря ему вышла. Если должон остался, то изводится, что не отдал. Потому и случается очень часто, что *предсмертный* пред всеми искупиться заспешит: почуял, значит, что освободить свой дух от злобы надобно. Только запоздал он шибко – и много ранее сделать это следовало. За годы и годы до дня своего смертного. Чтобы дух в царствие смертное отошел чистым, аки вода колодезная.

Потому и говорится вам, что в жизни земной человек своеручно посмертную будущность уготавливает. И никого не повинишь опосля, если муку принять придется, а только одно, что волком выть. Порой и сам захочешь забвения скорейшего сыскать, чтоб не маяться. Да только на небесах не дается этого, силы таковой у тебя нет, чтобы кануть в бездонную. А срок жизни твоей посмертной теперь зависит только от памяти людской, от дум о тебе думанных. И шибко запомнили если, то не скоро *канется* тебе. Внуки и правнуки изойдут уже, а ты все еще страдать будешь.

Потому в жизни земной *одна сторона* дается тебе, чтобы люди тебя упомнили. Род твой, в первую очередность, а то и чужие тебе люди, если содеял что памятное им. Это укрепит тебя в царстве посмертном, *долготу большую* отмерит тебе. Но если ты худо жил, если за духом своим не ухаживал, к смерти его не сготавливал, а только плотским одним и живал, то долгота эта великим наказанием тебе сделается. Дум ты много посеял людских, и зачин для *долготы* посмертной сотворил основательный, а о том, как духом бесплотным быть, не позаботился. Вот и майся теперь, земными жаждами одолеваемый, веки вечные.

А коли *справно* жил ты, равно обе стороны утоляя, то и выходит тебе светлость и радость

от жизни твоей посмертной. Ни места тут нет такового, где хорошо людям становится, ни расположения чьего заботливого. Что принес, там и живи, где остановился, там и будь, все худое и справное изначально в духе твоем содержится. Посему и говорю я, что на тыщу душ смертных – тыща разных наказаниев сделается. И по смерти каждый сам себя судить станет. И каждому свое выйдет, что в земном он себе уготовил. *Каждому – свое*.

Вит

От напряжения руку свело судорогой. Я с усилием разжал одеревеневшие пальцы, уронив ручку на исписанные листы, и затряс рукой, пытаясь разогнать кровь. Горбун мерно шагал по комнате, не обращая на меня никакого внимания, будто меня и не было вовсе. Я вдруг понял, на что похожа его нога, выгибающаяся коленом внутрь: так бывает, когда дверца у шкафа, закрываясь, словно проваливается створкой вглубь.

Он будто услышал мою мысль, остановился и вопросительно посмотрел на меня. Недобро ухмыльнулся.

– Что, умаялся, паря? Ну, поостынь чуток. Заглянь в комнатку-то заново, не воротился он? Нет? Ну, на нет и суда нет. Так что ты там говоришь, *каждому свое* на том свете станется?

Я слыхал, что это было на воротах Бухенвальда написано, концлагеря немецкого. А лагеря эти как назывались, помнишь? *Лагеря смерти*. Людишек в расход пущали там, миллионы жизней погубили. Только видишь, как странно-то выходит: если кто под ножиком лекаря очутился, тут и пофилософничать можно. Одному суждено выжить,

здоровым сделаться, а иной и помрет, под ножичком-то. Тогда верно будет сказано: *каждому свое* выходит.

А вот в лагере смерти, где всем без исключения один путь заказан – в *расход* отправиться, дымом в трубу печную улетучиться, – что же иного там станется, кроме того, что ногами вперед? Я так думаю, мил человек, неспроста все это. *Догадка* в этом смутная содержится. Чуешь?

Я промолчал, раздосадованный, что он каким-то образом ухитрился подсмотреть то, что я писал. Рука никак не проходила – пальцы болели и кололо в предплечье. Навскидку вышло не меньше десяти листов крупного неровного почерка – я отвык писать так много от руки.

Но ощущения, что я закончил, не было. И даже вертелось в голове два слова далее: «Хуже всех…» А чего *хуже всех*, кому *хуже всех*, надобно писать дальше, надобно писать.

– Один человек известный однажды сказал примерно следующее, – менторствовал горбун. – Мол, *переселение тел в загробный мир – невозможно*. Невозможно потому, что каждый, кто был бы вынужден сверху взирать на нас, испытывал бы страшные муки. Он бесился бы от ярости, видя все те ошибки, которые непрерывно совершают люди. Знаешь, кто это сказал? Гитлер. Удивительно точное предположение, не правда ли?

Оплошно лишь то, что догадка показалась ему такой ужасной, что стала доказательством невозможности смертного царства. Больно уж страшен подобный мир. Слишком противен

он духу земному. Так вот и баран, который на лужайке травку щиплет, про скотобойню не поверит, если рассказать ему про будущность его неизбежную. Не может такового быть, и точка. Только люди хуже баранов. Баран не знает, как оно есть на самом деле, а человек не хочет знать, противится знать, упирается знать. Барана против его воли мертвят, а люди своеручно духу своему пропуск в Освенцим выписывают… Нет, нет, паря, не взбрыкивай! Не тот, что *здесь*, на земле, а тот, который *там* тебя ждет, по смерти твоей плотской.

– Вообще-то это гадство все, – вдруг брякнул я неожиданно. – Неправильно все это. И то, что вы говорите, тоже неправильно.

– Ути, ути, – оживленно подхватил горбун, сделав быстрый шаг к столу. – Что это за такое?! Что неправильно? И что тогда правильным будет?

– Да во всем! Да в том же концлагере вашем. В Освенциме погибли миллионы человек. И вряд ли кто-то из них попал туда по своей воле. А тем более смерть свою принял. А *по его* словам выходит, что расплачиваться теперь они будут на том свете мукою лютою. За что им? На этом свете они уже пострадали, врагу не пожелаешь; так теперь и *на том* страдать за мучения их земные? Так получается?

– Не ори, не глухой.

– Да, ни хуя себе, не ори! Да буду я орать! Да вы почитайте только, что написано! А в тот раз я *иное* писал; я помню, я помню! У меня дед целый год от рака умирал, наркотики ему не помогали, такие боли у него были! Что, за это теперь и там ему мучаться?! А если кто-то от горя или от боли великой жизни себя лишает, то, выходит, и там ему спасения себе не найти от этой боли и горя? А только *большее еще* будет? Это что, справедливо?

– Не ори, говорю! Цыц! Чего разорался? А что я урод, справедливо это? Что люди глаза от меня воротят, это справедливо? Что ты тут сидишь, к столу прикрученный, справедливо? Что Андрюшенька мой по спине тебя так ебошит, что кровью харкаешь, справедливо это?

А у него, у Андрюшеньки, – если б ты ладошкой поводил, – у самого легкое в двух местах прострелено. Может, это справедливым выйдет? Остынь, паря, убери свои щи, *прокислые они*. А более, что и сам *написал ранее про справедливость* все, очень доходчиво. Вот сам и разумей, раз такой памятливый.

Гнев мой схлынул так же быстро, как и возник, – растворился, потонул в бессилии. Только рука заныла, заколола еще больше, суставы выламывало пытошной судорогой. Несколько минут мы молчали, не смотря друг на друга. Я растрясывал свою руку и пытался понять, почему горбун не проявляет ни малейшего интереса к моим записям.

– Если ты не веришь в то, что написано, – вдруг сказал он, словно угадав мою мысль, – то чего кипятишься, будто ошпарили тебя? Значится, веришь и сам теперь, что сказано. Ну, а потому и бесишься от бессилия. Догадываюсь, с души тебя воротит от слов этих. Ничего, паря, это утихнет понемногу. *Истинную правду* редко кому ведать захочется: уж *больно тошная* покажется она. Вот и Ракшиев твой: все тошно да тошно ему было, вспоминаешь?

Я когда в Софии ошивался, с Ракшиевым пытался калякать, мне один доктор интересную загадку загадал. Вот, говорит, *представь*, что наступает что-то такое, что тебя в сто крат сильнее. Что наступит против тебя со всей

неумолимой неизбежностью. Ты и остаться, но нельзя тебе, не по плечу тебе это. Вот и влечет тебя за собой сила эта.

Худо тебе будет, больно тебе сделается, страх великий одолеет тебя, адовы муки настанут тебе. И вдруг – чу! В один миг все прекратилось! И в свет ярчайший всецело окунулся ты. Невероятное облегчение наступило.

Такая свобода вдруг, будто полетел ты птицею в небо. А тут и архангелы во всем белом, с огромными крылами, подхватили они тебя и понесли ввысь, высоко-высоко. Ну-ка, скажи, про что это такое загадано, ась?

– Смерть и посмертное восхождение души на… – начал было я, но горбун меня перебил.

– Вот и я так сказал. Только доктор этот захихикал и говорит: мол, дурачина ты, Дмитрич, это я тебе *рождение дитя* пересказал, будто бы его глазами виденное. А не поверишь, то в комнате родильной сам однажды побудь да на себя примерь. Вот и откроется тебе. Затем и мерещим мы посмертность свою так, как увидали уже *однажды*. Тока вот это не смерть, а начало новой жизни сталось. А смерть, о которой думается, снова началом жизни может быть. Сперва тело народилось, для духа нашенского чрево. А опосля и дух уже народился, из чрева плоти нашей. Доктор этого мне не говорил уже, это я сам докумекал.

Попомни накрепко слово мое: человеки *впервой* умирают еще тогда, когда они родятся. И не повитуха мамке подсобляет, а сама Смерть за рожденным пришла. Лицо у нее суровое, а одежды у нее – белые и зубы ее – будто ножик вострый. Пупочек перегрызла, от утробы мамкиной тебя отделила. Вот ты и умер первый раз, *пришла Она за тобой*.

Оттого и *Смерть* нам *мнится* завсегда *в женском обличии*, *в белых одеждах*, *с косой* или серпом. Потому как уже видели мы ее однажды. Только если в этой жизни тебе сиську в рот положат и теплым молоком накормят, то в той жизне чего *сам народил*, то и сосать будешь.

А по твоей воле или не по твоей, невинно или повинно – различиев не делается. Сами себя на куски режем, в камерах удушливых морим, танками давим, пулями разим – самим нам и муку посмертную принимать за это выйдет. Вот так, паря, я слово *магии смертной силы* разумею. Вишь, какой я стался из чрева мамкиного? Так и на том свете получается: какого выносил в себе духа ко дню смертному, таковым тебе и быть навечно в царстве смертном.

– Складно вы сказки сказываете, – не удержался я. – Может, сами все допишете теперь, а меня отпустите, а?

– Эх, – поморщился горбун брезгливо, – писать-то ты пишешь справно, и слово передаешь верно, а вот думу над ним не держишь. Написать я и сам смогу, только тебе при этом быть должно. Ибо *тебе он слово молвит*, а со мной молчит, будто воды в рот набрал. А знаешь, что мне более всего непонятным выходит?! А то, что когда *он с тобой заговорит*, мне его речи слово в слово передаются. И в бумажки твои глядеть ненадобно. Ну, а коли я в силах сказанное внять, отчего бы мне его и не сказать? Но вот нет, не разговаривает он со мной. А зачем именно ты ему так нужен, никак я в толк не возьму.

– Как это? – оторопел я.

– Да вот и так. Души-то посмертные ни преград, ни оков не знают; и где им захотеть быть и куда их зазвать, там они и есть. А где двое есть, то там и третий может быть, разумеешь?

То бишь, тебе говорится, а мне хранителем докладывается – слово в слово, без помех. Кабы говорилось только, а услышать говоренное уже дело нехитрое.

– *Хранители*? – изумился я, – те самые, что Стоменов говорил? И у вас они тоже есть?

– Ну да, они самые. Только, я полагаю, мои послабже будут, чем егоные-то. Ибо он своих на службу себе поставил, а мои более из своего интересу шмыгают. А как понудить их к большему, я так и не научился. А может, и ненадобно уже это будет, излишность выйдет.

– И чем они вам помогают?

– Да разное все. Наибольше всего подсказы делают разные. Во снах являются часто, также советы дают. Просьбу какую выполнить могут: например, пересказать то, что ты писал от него говоренное. Спросить у них можно, когда сам не разумеешь чего. От беды придержат тебя, неприятности и опасности стороной обойдут. В основном, важное это будет, судьбы и живота моего касаемое. А спроси какую пустятину, так не ответят, а то и обозлятся еще. Вот только до жизни моей и есть им важное дело. О нем хранители и пекутся исправно.

– Так и доспросите у них сами про царство это смертное, – заторопился я. – На Стоменове свет клином не сошелся,

поди? Что, не скажут? Не скажут?

– Ты, паря, словами-то помягче, помягче кидай, – нахмурился горбун. – Попомни наперво, что счастьем тебе большим будет, если хоть одна душа из миллиона с тобой разговорится.

Однажды мне цыганка дух Чингисхана *зазвала* да напытала у него, какая у меня судьба станется. Я ее и упек в дурдом после этого – пущай там зазывает. Ибо не явится к тебе дух этот: слабым ты против него выходишь, будто тля против медведя. А настырничать вдруг станешь, то и беда может с тобой случиться – под машину попадешь ненароком, на ровном месте зашибешься насмерть или еще как-нибудь.

– Даже так?

– А то не так! Еще как! Долго ли бабе на сносях от дитя своего избавиться будет? Подняла ношу непосильную, поднатужилась излишне да изрыгнула его из чрева своего. Поминай как звали. Так и в царстве небесном: многие думами нашими в силу великую входят, этих душ на небе тысячи и тысячи будет, и трогать их ненадобно, ибо они жизни тебя лишить могут враз. А если не трогаешь, то и дела им нет до тебя. А если сам усиливаешь их думой своей, то и послабление тебе может выйти какое-нибудь случайное, удача станется. Вот и подумай впредь крепко, прежде чем *зазывать* сильных мира смертного.

На чем я остановился? Ага, вот: тебе еще найти духа разговорчивого надобно, чтоб его на службу себе поставить. А он, ты думаешь, хочет тебе служить? Не-а, у него свой интерес к тебе выходит, о нем и печется он сперва. Не столько он тебе служит, сколько тебе служить

ему надобно. Когда слово про него замолвить, когда свечку поставить, когда могилку его подправить. *Послабить* его там, в общем. Тады он и благоволит.

И чем более страдает этот дух, тем охотнее помогать тебе будет, от беды тебя оберегать. Потонул он если в жизни земной, то от воды убережет. Сгорел если, то от огня сохранит. А погублен если человеком, то от замыслов лихих людей против тебя отворотит.

Вот так оно деется, паря. Вот в народах говорят подчас, что *врагу не пожелаешь* той беды, какая тобой принята была. Так вот, истинно эти слова только на том свете и говорятся. И если плотью сгинул в страдании каком, то воистину врагу своему не пожелаешь такового страдания. Потому и вспомогаешь на земной жизни – будто облегчивает это тебя, мучение твое бесконечное ослабляет. Видишь, какая мена выходит: ты ему могилку поправил, а он от тебя беду отвел. А не печешься за него если, то и ты ему не нужен.

Тока вот люди слепы в большинстве своем. Порой дух посмертный поминальничает, а они и не зрят, что за столом с ними рядушком сидит, кручинится. А коли ты глух и слеп, тогда как ему сообчиться с тобой должно? Вот и уходит он навсегда. Одно только и есть, что во сне иногда явиться сможет, о себе напомнит. А то и сам зазывать тебя начнет. А на больше нету у него силушки. Будто живой в яму ойкнул – вылезть не по силе ему, а не вылезть ему нельзя никак. Вот и кричит он, подмогу себе зазывает. Какое уж тут охранить кого, тут бы самому живому остаться.

Я, брат, много отмаялся, пока собрал хранителей своих. Даже умеючи если, все одно дело это трудным и долгим выходит. Сильная сила к тебе не поворотится, а слабого еще сыщи, чтобы охоч был до судьбы твоей. А если и нашел, то более о его нуждах печься надобно, а не свои утолять нацелиться. Тогда он и окрепнет постепенно в интересе своем, содействие тебе оказывать начнет. Вот и стали вы дружками *не разлей вода*, только он на том свете, а ты на этом пока.

А почему я не спрашиваю у них про царство смертное, так то неправда твоя. Не один раз интерес к тому утолить пытался. Да только не ведают они. Нет в них картины цельной. И далее носа свого не зрят они, и зрить не желают. А если настырничать, то озлятся. Потому вот и жду я твого слова, *им сказанного*. Ибо *всецельно* оно царство мертвое обхватывает, знание о нем великое имеет. И мы сегодня постигаем тока, а они век назад уже по законам оного жили.

А хранитель пусть и на страже твоей стоит, а все одно, о себе наперво заботу держит. Но иногда и через них нечто отдельное постигнуть можно. Мне один говаривал как-то, что на том свете дух посмертный на огонь похожим будет. Пока ветки мыслей кидаешь, он горит хорошо, ярко. Щи можно сварить, согреться. А забыл веток накидать, и умер огонь, сгиб.

Не возжечь его обратно, новый теперь нужно искать. А если поддерживаешь его справно, то, все одно, не забывай никогда: не огонь тебе службу служит, а ты ему уход даешь. От того и питаешься, и тепло себе находишь. И не панибратствуй, а то обожжешься враз до волдырей кровавых. А то и вовсе погибнешь.

– Да уж, – протянул я недоверчиво, возвращая на стол ожившую руку, – воистину говорят, что *тяжела ты, шапка Мономаха*.

– Что, писать дальше зачнешь? – оживился от своего сумрачного бормотания горбун. – Ты погодь-ка, не пиши ничего. Только заноровись словно бы писать, а сам не пиши, уговор?

– Вот те раз! – изумился я. – Это еще почему?

– А потому. Ты приноровись только, а я сам за тебя скажу, будто по бумаге твоей читаю. А ты слушай да примеряйся ко слову моему: верно я говорю или нет. Договорились?

– Воля ваша, – вздохнул я обреченно, взяв ручку и занося ее над бумагой. «Хуже всего для тех станется, кто…», «Хуже всего для тех станется, кто…», – затрепыхалось в голове.

Ширк-вширк. Ширк-вширк. *Вширк-пиширк*.

Стоменов (Горбун)

– *Хуже всего для тех станется, кто* жизни себя лишил нарошно, плоть свою умертвил. И коли тому, кто неволею плоти лишился, худо выйдет, страдание великое принять должно, – что о том сказать, кто *волею своей* плоть свою порушил? Будто мать нерадивая, дитя по неосторожности погубившая, волосы на себе рвет и локти свои кусает. Вот так и убивец плоти своей собственной на том свете вкусит локтя своего сполна.

Страдания немыслимые предстоят ему. Одним и молись только, о том и чай, кабы *забвели* тебя поскорее. Кабы кануть тебе *в никуда*, на вечные веки. В том и спасенье выйдет. И что хоронить *такого* не велят повсеместно, не наказание это совсем выходит, а задел верный на избавление великое, которое забвением дается.

Не только хоронить, не только памятник ладить, а даже и думу думать о таком не должно, ибо каждая дума эта – муку его страшную продлевает. А если же до смерти самоубивец память долгую о себе в людских умах зачал, то и обрек себя на *вечное мучение*. Ничем и никак не послабить ему. Теперь *думы людские* о нем *камнями побивающими сделаются*.

Плоть животная – будто шкорлупка яичная, в которой духу созреть должно, чтобы птицей небесной сделаться. Придет время, для каждого каждое, шкорлупка треснется, и птица в небушко воспарит. Вот и живи для птицы своей будущной, ибо не шкорлупка ты. Плоть в земле останется, а птица крылы расправит. А коли жил ты шкорлупкой, то расколешься да по ошметкам своим костяным убиваться зачнешь. А второму из одного яйца не выйдет народиться уже. Так и исчахнешь в тоске своей по утраченному.

А если и сила большая от людских дум задастся тебе в царстве смертном, то послабления и тут не станется, а тока обременится ноша твоя тягостная. Что страннику злато на хребту своем по пустыне жаркой волочь, от жажды умираючи, что тебе эту силу принять. Одно вам и выйдет, что маяться от бремени непосильного этого.

К смертному часу дух человеческий должон быть готов народиться из плоти тленной. Для оного человека, к смертному часу готового, и смерть плотская спокойной и тихой выйдет.

Ни тревоги в его сердце не сыщешь, ни тоски, ни страху, а только благодать в чертах его предсмертных проявляется. Вот-вот уже народиться его душе будет, от плоти ненужной освободится она навечно. Ни квасу тебе не испить более, ни яблочки с дерева посымать, ни в баньке попариться, ни семечки с бабами у двора полузгать, ни уснуть на теплой

печке, ни мозолей на руках нажить, ни слова тебе более молвить. Дух народился твой, и ничего плотского в бытие твоем не останется. Одно только существование бестелесное.

Но если не жил ты для духа своего, а плотскому одному угождал, тут и заберешь с собой в царство смертное чаяния свои плотские. Будто горшок с кашей на стол поставили, а ложку не дали тебе. Вот и смотри, как другие теперь едят. Мукой бесконечной нужда твоя станет тебе: ни унять, ни отвлечь, ни насытить тебе ее более. Потому и говорится нами, что люди завсегда сами себе, своеручно, наказание посмертное выписывают. Чем научился кормить себя в жизни земной, тем на том свете и питаться зачнешь. А коли в царстве смертном для тебя такой каши сварено не было, то и маяться тебе выходит несолоно хлебавшим веки вечные.

Иные в царя небесного веруют, который любого на том свете рассудит. Тока думы об этом напраслинные, ибо суд над собой еще в жизни земной совершаешь ты окончательно. Не надо и книжек читать церковных, а только осмотрись на свою жизнь, и озаришься в тот же миг, какая в посмертном существовании ожидает тебя *награда*. Может, тогда и жизнь свою переиначить как-то захочешь, пока есть еще время тебе в жизни земной.

Я *тогда* о судьбе посмертной неохотно сказывал. Только не потому, что не знал, каковое оно выходит. А потому, что нутром почуял *противность* услышать истинное слово мое. Вот и отделался загадками. Будет нужда когда, ответ сам сыщешь или *допытаешь* опосля. А нет если, то и забудешь навечно, будто и не было тебе ничего вовсе.

Зато по смерти своей постиг я одно важное, чего ранее не разумел. Вишь, как выходит, у нас, кривошеевских да никитовских: Никола путь-дороженьку устелил знанием своим, *по его научению делалось* все, в великой точности. Вот тока земному пути не обязано было именно таковым быть. *Разными путями* хаживать по миру можно, а не только нашим.

Мне казалось тогда, что только один наш путь правильным и выходит. Самым лучшим, единственно верным. И лишь по смерти уразумел я, что к посмертной благодати, легкой и светлой, отрадной и покойной, многие пути ведут. Разные пути верными будут.

Можно праведником прийти сюда, а можно и грешником. Можно в силе большой быть, а можно в слабости отчаянной. Можно злом быть, а можно и добром зваться. Можно среди тысяч людев быть, а можно отшельником сделаться. Да все одно, к наилучшему началу посмертной жизни прийти всегда возможно. Лишь бы одно выходило, чтоб дух человечий над плотью своей восцарствовал безраздельно.

Вот и выходит, что многие, коих злом называете вы, в смертном царстве благодатствуют, ибо духом своим много крепче тела сталисъ. А многие иные, кого боготворите, здесь муку принимают великую, ибо плотью своей тленной отягощенные остались. А вот тем, кто на себя руку наложил, все пути к одному ведут: к страданию нечеловеческому. Я таковых тут много знаю.

Гаршин, например, Всеволодичка, очень сильно мается. А почему так вышло у него?! Так забрал, букашечка этот бумагомарный, на тот свет с собой все, что только унесть с собой можно. Умом болен был? Болен. Телом хвор? Хвор. Бессонной маялся? Маялся. Так еще и учудил, дабы избавило его смертью: сиганул с высокого верху под лестницы. Аккурат, в пятый день и помер от того. Думал, поди, что послабится ему, занебудется навечно? А оно

вон как вышло. Вот и майся теперь веками вечными, пока людишки земные не забудут по тебе думу думать.

Или Никола Успенский, который ножичком перочинным горлушко себе вскрыл. А ведь с Толстым знавался, с Тургеневым. Учености большой человеком бывал. Галич туточки, все по стрекозе какой-то убивается шибко. В петлю залез, человечишко нерадивый. Много их тута мается, мучеников вечных. За *тщедушность* свою расплачиваются они неоткупно.

Из самоубивца самого верного хранителя содеять себе на службу можно, да только больно *постыло* с ним дело иметь. Мне девятый Андрюшенька мой особливо дорог был, вспомогал я ему, чем тока можно. Но это кому как будет. Николе вот первенец его шибче всех иных на сердце лег. Который тебя от случайности бережет, значит. А иногда и переменится все: в силу войдешь б*о*льшую, вот и отдалится от тебя один, а другой, поперек, сблизится.

Мне однажды Николе возразить удумалось, что шестой душе ненадобно быть вовсе. Да только осерчал Никола на это крепко, разгневался. Должно, говорит, шестой душе с тобой статься! И иной любой душе приглядывать за тобой должно. Хоть воды за триста верст вокруг нету, а все одно, должно подле тебя душе утопленника ошиваться. Тебе не надо, а ей как раз послабление будет, что и захочешь сам утопнуть, а не сможешь, потому как сушь кругом. Вот и порадуй душеньку-то, подле себя удерживая, а она тады и служить ретивее зачнет.

Вишь, какая наука-то хитрая выходит? Ну, а по смерти уже разбредаемся мы порознь; и ни нам в них нужды более нету, ни им в нас тепереча послабления не найти. Одно и содеешь, что сородичу своему хранителя передашь, будто по наследству. А коли не нужон нашему, то и за сторонним каким человеком поглядывать хранителя поставишь – пущай оберегает. С одним только условием, что человек этот непременно к царству мертвому благоволить должон. Тогда и хранитель ему дастся.

Ну а кады хранитель с умением дается, то и ведать о нем человеку не всегда нужда есть. У развилки повернул в любую сторонку, а свезло тебе так, как будто верно повернул. На гулянье пойти раздумал, а там и беде случиться. На корабль запоздал, а оный и потонул.

Темной ночью ходить, а и не сыщется на него разбойника с умыслом. Так вот и *минует его*, о чем подчас и сам не ведает. И у него в земной жизни все ладится, и хранителю его послабление выходит. А если отметил удачу свою человек этот – *знаком* каким нарошным, вещью особливой али обережной, то и тем паче. Закрепится союз их крепко-накрепко.

Одна беда только, что воротятся люди от царствия смертного. Зрить его не хотят, слухать про него не желают. Никола так сказывал: кто за жизнь свою дрожит, тот смерти скорой ищет, а кто смерть почитает, тот жизню продлевает. Потому и выходит, что и тогда я все верно передал, и теперь истинно говорю. Положи в гроб покойнику предмет свой дорогой, и он тебя, покойничек, в самой скорости за собой утянет. Но коли в смерти силу сыскать уразумел, то хоть ногти свои остриги в гроб – не только не сгинешь, а и укрепится более жизня твоя, ибо служить тебе будет справно душа посмертная.

Потому и до сорока дней у близкого самого сородича одежа от покойного надевана была –

единились души в разноцарствии, близость особую обретали в противоположности своей. Теперь вечно сородичу о покойничке служить велено, а душе умершего – о живом печься. Вот так.

Вы меня судить загорелись, да только неведомо вам, что о каждой душе смертной, моей силою жизни лишенной, я до самого последнего часа своего заботу держал. Будто баба за дитями своими ухаживает, нужды ихние утоляет. И по смерти вашей плотской крупицу от такого жалкую получить, как я держал, – сами бы в ножки распоследнему извергу упали, верным рабом его сделались на веки вечные. Ибо *не на земле истинная жизнь идет*, а в царстве посмертном, когда дух народится из плоти вашей. Когда народите своего, тогда и рассудимся с вами, кто *вернее будет*.

Горбун

Горбун остановился – его горб вздымался от тяжелого дыхания. Все это время он стоял, не пошелохнувшись: не ходил и не опирался на стол, как он обычно это делал. Глаза его хоть и смотрели на меня, но будто не видели ничего: так бывает, когда человек задумался, как говорят, «ушел в себя». А я, замечая, как выламывается его нога, испытывал на теле своем гадливое *ощущение* уродства. И страшно смотреть, и не хочешь смотреть, но только некая сила будто подталкивает тебя взглянуть еще разик. Доводилось ли вам видеть человека, у которого начисто не было носа? Приходилось ли видеть человека с огромным наростом на носу или на веке? Ловили ли вы себя на том, что хотите посмотреть на это *еще раз*, хотя и тошно вам становится от этого?

Горбун очнулся от своей сомнамбулы: он подошел к столу, навалился на него и посмотрел на меня. Взгляд его выдавал усталый вопрос, обязывающий к послушному согласию. Как будто нерадивому ученику долго-долго объясняли урок, а потом нетерпеливо спросили…

– А почему Галич? – вспомнил я. – Галич погиб, кажется, от удара током. То ли случайно, а то ли *кэгэбэ* ему подстроило, я читал об этом. А он говорит, что повесился. И стрекоза, что за стрекоза, при чем здесь стрекоза? Что-то тут не так.

– Ну, ему *там*, наверное, повиднее нашего будет, ась? – насупился горбун. – Может, это и не тот Галич? Про того я тоже слухом слыхал, правда, без подробностей. Что пристал? Раз сказано тебе, что повесился, значит, повесился. И про стрекозу никакую не знаю: это тебе говорится, а не мне. А я всего лишь подслушать могу говоренное. Ну, могу у хранителев своих попытать. Только вряд ли им нужда будет до галичей и стрекозов твоих.

Я вот сейчас о ином думу думаю: может, укрепляет он себя деяниями нашими? Коли дума о нем множественной станет, то усиление ему там выйдет? Разные людишки думать о нем начнут, а в мире смертном это только и надобно, ибо тот свет мыслями земными питается.

Вот и рассуди: поворотится у иного человека дума его в направлении верном, к заветам и наставлениям смертной силы магии, к воспитанию и укреплению духа своего, и станется для этого человека хорошо. Ибо тому, кто готовит дух свой к благостному бессмертию, не обойти признания и примирения с часом смертным для плоти своей. А оное для смертного царства и надобно. Чтоб ты не отворотился от него, а поперек, уважил и попомнил его да попекся о душах посмертных. Тады и для земной жизни хорошо станется, и для смертной.

Ну а коли не поворотился, а только за плоть свою жалкую еще более ухватился, нуждами да грехами земными ее напитывать, то по смерти плотской и воздастся ему сполна. А *ему*,

учителю нашему, все одно, хорошо будет. Ибо *думу думать о себе* людей сподобил. А как они этой думой распорядятся, их собачье дело.

– Ну да, – одернулся я, – вам только и дай воли, что людей постращать. Лучше меня, поди, знаете, что человека поманить в *прекрасное далеко* надобно. Тогда он и загорится за тобой идти. А мы куда зовем? В морг? На кладбище? Так мы все там будем, никого не минует, и стремиться ненадобно. А как оно после того будет, никто доподлинно не знает.

– Мы, паря, *никуда не зовем*, заруби себе это на носу крепко-накрепко. Не зовем и звать не будем, попомни это. Ибо нет такого места, в которое тебе идти должно, равно как и места нет такого, куда тебе идти не следует. Мамка брюхатая куда угодно идти может, да только утробный ее на одном месте остается, пока не разродится она. Так и тебе выходит: любым путем иди, а все одно, на том же самом месте духом своим стоишь. Слышал, как говорят иногда, будто *душа у человека гнилая*? Вот и живи в земном так, чтобы дух не зловонил, а народился здоровеньким.

А про грехи я хоть и для красного словца сказывал, но с умыслом все же. Они творятся не против царя небесного или законов небесных, а против духа своего. Грех – это когда твоя плоть над твоим духом царствует. Припомнишь какие-нибудь *смертные грехи*, ась?

– Прелюбодеяние. Еще обжорство. Лень, кажется, тоже.

– А убийство? Кады один человек намеренно другого жизни лишает? Это смертный грех?

– Кажись, нет.

– Кажись, нет, – язвительно передразнил горбун. – Вот и рассуди: мошну свою набивать в жадности ненасытной, поперек убийства, много хуже выходит. Почему так? А потому это, что жор – это напитание духа твоего желанием плотским. Похоть – это напитание твоего духа желанием плотским. Зависть – это желание плотского. И любой *смертный грех* – это будто бы намерение погубить дух свой, плотскими нуждами его напитывая. Обрекая его в посмертности своей на муку вечную, неутолимую. От того и грехи эти – *смертные*.

Но не потому, что накажут за них, а потому, что по смерти своей проклятием они для тебя станутся, ибо не может твой дух иначе жить, чем одним только желанием плотским. Затем и сказано, что коли *не варят каши такой* в царстве посмертном, что привык ты кушать, то и страдать тебе от того, глядючи, как другие едят.

Так что, паря, если перед смертным часом тебе *смерть с косой* пригрезится, ты сообрази о том, что коса ее шибко на одну цифру похожая выходит. Угадываешь, на какую?

– На семерку?

– Вот-вот, на семерку, – захихикал горбун. – Аккурат, про эти семь *смертных* грехов тебе она и напомнит. Так что живи в земном так, чтобы не загнил дух твой плотью зловонной. И тогда, по смерти твоей плотской, душе *народившейся* легко и радостно будет. Вот так. Вот так. Вот так.

Вит

Он вдруг оборвался, посмотрел мне за спину и нетерпеливо застучал костяшками пальцев по столу. Волною воздуха открываемой двери мне окатило спину, вслед за ним заклубило тошнотворным сладким запахом Андрюшкиного чавканья. К нему примешивался другой запах, что-то знакомое, *очень знакомое*. Но за плотным облаком клубничного перегара я не мог разобрать, что это такое.

Горбун не смотрел на меня. Выражение его лица стало озабоченным, черты обострились, выказав острые углы скул. Я сжался, почувствовав что-то нехорошее.

– Забери у него бумаги, – отрезал горбун.

– Мы закончили? – торопливо спросил я, охватываемый тревогой.

Тяжелая рука навалилась мне на левое плечо, мясо ногтей небрежно подмяло исписанные листы, скомкало их и унесло с собой, назад. Ручки и распечатанная пачка бумаги осталась на столе. Клубничный пар обдал меня сильнее, усилился и второй запах. Кажется, это…

– Насчет *мы* не ведаю, а лично *я* закончил, – ледяным голосом сказал горбун.

На голову, на плечи, на спину мне хлынула холодная жидкая вонь. Бензин! В мгновение я понял все и завизжал от страха, отпрянув с табурета на пол и прикрываясь от льющейся на меня вонючей жижи. Руку обожгло и вывернуло в суставе: в своем порыве я позабыл, что прицеплен к столу. Слезы брызнули из глаз. Все тело, каждая клеточка, словно закислило изнутри, пропиталось едкой колючей кислотой. Кое-как я вывернулся, ослабив руку, и как можно дальше заполз под стол. Ужас объял меня, тело забила кислая колкая дрожь, слезы будто выбивало изнутри прищуренных век, укрывающих глаза от бензиновой грязи.

Пустая пластиковая бутыль полетела на пол. Две вытянутые коленки брюк Андрюшеньки плясали перед моим полуослепшим лицом.

– Зря вы так, Дмитрич, – впервые я услышал его голос, тяжелый глухой бас, – сантехники как раз две плиты в подвале подняли, трубы чинят. Там и урыли бы, без лишней суеты. На что оно вам, с огнем-то?..

– Не-е-ет! – заревел я из-под стола, заметался, рвя прикованную руку в кровь. – Да вы что, не надо, нет, не на-а-а-а…

– Заткнись, на хуй! – его ботинок пушечным ядром врезался в ножку стола. – Заткни свое хлебло, более тебя не спрашивают! Так что, Дмитрич, может, туды отволокем? Там я его и кончу враз, зароем, и делу конец. А, Дмитрич?

– Ну, не на-а-а-адо… – выл я, – не надо, не надо, не надо! Может, я не сказал чего, а? Я не все дописал, а? Ведь не все

же, да? Не над-о-о-о-о-о…

– Ремонт сделают, – раздалось откуда-то эхо горбуна, – окно прорубить заставлю, без окна

дышать совсем нечем, а у меня легкие-то и так не железные…

– Ну, не надо… – ревел я медведем, вцепившись второй рукой в ножку стола, бензиновые слезы катились по лицу. – Не на-а-адо… А-а-а….

Это будет дикая боль, ужасающая боль, все тело, все тело, все тело охватит огнем, тысячи и миллионы ожогов в одно мгновение, от которых нельзя отдернуть руку. А я прикован, а я разорву себе руку, я вырву с мясом эту кисть и даже не почувствую этого, слишком это страшная боль везде, боль повсюду, боль каждого нерва, отчаянный крик, нечеловеческий рев, звериный, яростный, разрывающий на части… Сколько, сколько, сколько, сколько?

Пять секунд? Три секунды? Одна секунда?! Невозможно выдержать больше секунды боль такой изуверской силы. Секунда? Ну, три секунды? Ну, блядь, три секунды только, это же не вечность, а это три секунды только! Остановись, остановись, остановись! Приготовься к боли! Три секунды, только три секунды! Потом лопнет мозг, закипит мозг и полопаются все предохранители его, три секунды сдержись, сможешь, давай, три секунды только, как только спичку поднесут, зажигалку поднесут – ты мертв уже, ты сразу мертв, мозг умрет в ту же секунду, только тело, живая плоть, подрыгается, порвется на свободу, так ведь вот и курица, ей голову с плеч, а она бежит еще, без головы, и боли нет, значит, просто рефлекс, просто программа, три секунды, мгновенная смерть. Ладно… Ладно… Ладно… Кисло как все, что же это такое, будто лимонным соком в раны налили, почему так кислит, почему в нутре разъедающий колючий жгучий уксус?

– Дверь покрасят, – бормотало эхо, – а то поглянь, красочка-то облупилась, вот и пусть ее посошкрябают да заново покрасят. И стол этот опостыл мне, он кровью воняет, не чуешь? Воняет кровью старой. Вот и пущай подкоптит.

Я чувствую себя горбуном, я чувствую, как на груди моей будто непомерная тяжесть, как она давит мне грудь, стесняет грудь, не хватает воздуха, нету силы вздохнуть, кислота под кожей, кислота сочится сквозь поры, кислота разъедает глаза, кислота режет прикованную руку, кислота едкой слюной заполняет рот, кислота, кислота, кислота… Тело, тело, тело за жизнь борется, это оно цепляется, это оно, это не я, это оно, оно пускай, это ведь не я, я не буду, а оно пускай, ему так положено, больно ли душе будет потом, больно ли ей вообще бывает? А телу больно будет, больно будет, больно будет, ужасно больно, смертельно ему больно будет, больно, больно, больно, больно…

– Спички есть? Ну, так доставай, чего ждешь: сказал же, по-моему выйдет! Только отойди потом от него, а то вырвется еще, тебя попалит ненароком.

– Погодите! – заорал я изо всех сил, разрывая воздухом грудь. – Погодите!

Кислота жует мои губы. Я пошевелился и обнаружил, что не чувствую ног. Правая ступня подломилась, и я завалился на бок, едва успев ухватиться рукой за ножку стола. Тело меня не слушалось. Дрожь выворачивала мышцы. Глаза застилала пелена. Три секунды – это три секунды, это только три секунды страшной боли, а затем, затем, затем…

– Погодите! – я сделал попытку встать. – Пусть не по-вашему будет, слышите?! Не будет по-вашему! Подождите, выйти мне дайте! Не будет по-вашему, не будет, суки, не выйдет, как задумывали, не будет, погодите только.

Кто-то имеет силу войти на лобное место. Я на него вполз. Я старался почувствовать свои

ноги, но они словно отнялись. Я закричал от боли, подтягиваясь на руках, пытаясь влезть на стул. Три секунды не час, три секунды не день, три секунды не год, три секунды, всего три секунды… Углы стола острые, очень острые, а я начну метаться, упаду на них, живот вспорет, как нож подушку.

– Ты закончил? – нетерпеливо спросил горбун. На ледяных скулах поблескивали сальные борозды волос, красивые ногти барабанили по столу.

У меня все оборвалось внутри. Лицо задрожало. Теплая кровь сочилась по пальцам. Спина одеревенела, запах бензина снова ударил в голову, красные пятна заходили перед глазами. Сейчас, сейчас, сейчас, три секунды, сейчас. Давайте. Три секунды. Давайте. Давайте! Три секунды сейчас…

Я открыл рот, но не смог издать ни единого звука. Только жадно взглотнул воздух. Только кивнул. Три секунды. Ужасная боль. Смертельная боль. Горящий жир закапает на пол. От крика лопнут барабанные перепонки. Услышу ли я, как мне будет больно? Почувствую ли я, как мне будет больно? Тело закричит, тело завопит, тело забьется в последней судороге своей. А я? Что я? Услышу ли? Увижу ли? Смогу ли понять, что *со мной* происходит это?

В голове опустело. В голове звенит колокольным звоном. Внутренности будто бы вынули. Ног не чувствую.

Чувствую кровь теплую, а боли не чувствую. Только воздуха еще глоток мне один. Только еще один глоток. И ничего больше. Не могу сказать, только киваю. Да, я готов. Киваю. Готов. Три секунды. Киваю. Давайте. Давайте. Дава-а-а-а-айте!

Горбун

– Вот так оно, Андрюшенька, и выходит порой. А вены резать зачнет, что делать станешь, ась? А в окошко спрыгнуть занамерится? Али в петлю полезет? Вот тута и закончилась-то сила нашенская. Уразумевай.

– А что, Дмитрич, у него горлом кровь пошла? Хворый, што ли?

– Не-а, Андрюшенька, тут иное выходит. Вот когда собаки нет, а человеку она кажется, то и страх он настоящий испытывает. А если покажется, что укусила его, то закричит он от боли, будто и взапрямь его пес цапнул. Так вот и книжник нашенский: раз ему зрится, что лупасят его, то и страдает от мысли своей и кровью даже харкает от мысли этой. Затем и говорю, чтобы знал наперед: замутился разум у человека если, то и закончилась сила твоя. Иначе тогда видит он, иначе чует, иначе воли нашей поступки творит… Ну-ка, примерься, чего он там?

– Ох, курить мне охотова, Дмитрич, силы нет никакой!

– Курить, курить! Вот и дохотел! Я ж то и говорю, что разум мутится если, то человек все иначе в толк берет. Тебе курить, а ему огнем гореть. Я-то вот видал, как люди в кровь себя разрывали, от крыс да пауков избавляясь. А пауков этих и нету вовсе, а одно и есть, что до крови человек себя бороздит. Вот так оно бывает. Ну, так что он там? *Обморокнулся*?

– Кажись. Или уснул. Мыслимо ли, вторые сутки без сна находиться?

– Ну, хорошо, если так, отпустит его опосля сна-то. Видал, сколько настрочил? На книжку цельную выйдет.

– А пошто тебе, Дмитрич, такое не говорится? Не одно разве, кому слово сказывать?

– Пенек ты сиженный, Андрюшенька! Слово тому и говорится, кто жизнь ему дать смогет. А *мне разве по силам* таковое? Не раз я за перо брался, да только тщета одна и вышла. Да и откройся он мне, куда я это слово приноровлю? Уразумел?

Слова, Андрюша, в разных устах разное говорят. Возьми вот истории смешные: потешили тебя, самому попотешить кого охота стало. И пересказал-то ты все *слово в слово*, а потехи не вышло. Отчего так сталось? А оттого, Андрюша, что *слово живое*, от сердца завсегда говорится.

Вот и выходит, что иной про жизнь споет, тока слово его мертвое да холодное, будто ноги у покойника. А тут, поперек, про смерть было говорено, а слово живое да теплое, словно молочко парное. От самого сердца, значит, идет слово это.

– А нам-то что с того, Дмитрич?

– А нам, паря, оттого и прокорм. Есть ли дело городскому до того, каков у крестьянского мужика урожай народился? Вот то-то же! Так и нам выходит: досуга нет, а харчи завсегда подавай. Вот и поклонись в ножки тому, кто на полюшке белом из семечек буквенных для духа твоего пропитание засеивает. Усек?

– Покурить бы, Дмитрич. Эх, покурить бы мне… Хоть листочков березовых. Я бы вон ту бумажечку-то, где красными буковками записано было, закрутил бы. Эх, мука-то какая…

– Какими такими красными? Где ты красные-то увидал, когда черное одно было?

– Ей-ей, красным делалось, Дмитрич! Когда пособачились вы с ним, ты не углядел разве? Красной рукой выписывал в тот момент. А потом бумажкой заложил, заново черное взял, изготовился далее. Да тока не дал ты ему, сам за него досказал. Я и пересказать могу, если хошь, мне нетрудно. Тока покурить бы мне, Дмитрич, покурить бы мне-е-е-е…

Стоменов (красной ручкой)

Ну а раз Андрюшки мои не надобны более, то и служить им вышло теперь тому, кто слово за меня говорит, кто память обо мне держит, кто думы думать обо мне понуждает. Тады и благоволят к нему хранители мои, службу ему служат верную. От шага напраслинного, от огня горючего, от волны кипучей, от замысла дурного, от случая опасного – сбережется и в силе укрепится *душа земная*. Потому и выходит, что не стается ничего худого. Идешь, а не упасть, плывешь, а не потонуть, летишь, а не расшибиться. А надумает супротив кто, и спотыкнуться ему тотчас. Даже за *думу худую* больно накажется. А за дело и того паче.

Ибо за *словом этим* род наш, кривошеевский да никитовский, в великую силу входит, его чаяния и помыслы укрепляются. Нами оно дается, нами и оберегается трепетно. Потому и наказывается тебе али нашей тропой ходить, али иную сыскать, али свою натаптывать. Но если нашу дороженьку бурьяном поростить засмелишься, то не простится тебе оное, еще в жизни земной *воздастся сполна*. Посему как хранители наши – девять душ посмертных, девять душ всеведающих и всесильных, девять душ всезрящих и всеслышащих, – хоть за тысячу верст дух зловонный учуют, думу злобную разгадают, умысел враждебный против тебя самого поворотят. Теперь и смотри, как жизня твоя в тленный прах рассыпается.

Но коли и по-нашему идти будет, то не проси *у нас* ничего для жизни своей земной, ибо не дастся тебе. А когда и впрямь *для духа* своего жить зачнешь, тут и постигнешь сполна, что *просить тебе нечего*, ибо нету у тебя нужды ни в чем более. Птице вольной немногое в жизни земной надобно, а в чем дух зануждается, когда будто птице этой уподобится, на небо играючи воспарит?! Вот и живи для того, в чем по смерти своей плотской нуждаться станешь. И тады легко и радостно тебе будет, как во снах бывает, кады отрываешься ты от тяги земной и *летишь* вольною птицею. Только радость эта бесконечной может сделаться для духа твоего. А кем *долгота* жизни посмертной задается и продлевается, говаривал я уже.

Теперь от моего разумения все истинно поведано, а *на большее* я нужды не имею, и от вас ничего мне ненадобно. Моим путем пойдете, дело вашенское. Чужим путем пойдете, дело вашенское. Своим путем пойдете, дело вашенское. А придете сюда в благости, тока вам и радоваться. А придете сюда с мукою, тока вам и маяться выйдет. *Как наварите* себе, так и кушать зачнете. И мне от вашего стола не харчеваться, а вам от моего не вкусить будет. С чем придете сюда, с тем и останетесь *навечно*. Останетесь *навечно*. *Навечно*.

Горбун

– Вот и тады, Андрюха, все так же было. Слушаешь его, а сам чуешь, что дела ему до тебя никакого нету совершенно. Уразумел ты слово его, ну и *уразумел*. Делай с ним теперь, что хочешь. А не уразумел, то и живи, как прежде живал. Дело хозяйское, как говорится.

Тогда я в толк взять не мог, как таковое может быть. Все ключик к нему искал, да так и не нашелся он, ключик этот. Ну, а *по-нонешнему* если судить, только одно и мерещится мне, что я тогда – *уже с мертвым телом калякал*.

– Вот же брехня какая, Дмитрич! Как такое быть может? Не может этого быть!

– Да, не может, не может, конечно! Этого просто не может быть! *Надуманность* это моя, Андрюшенька. Да только вот чувство это – чувство *великой тщеты людской*, по своим земным путям-дорожкам устремленных, – *истинно* лишь по смерти плотской открывается тебе. Ведь так оно это, Андрюша? Согласен со мной?

– Тут не попишешь. Кабы знать заранее было…

– Вот и я об том же. А *он* ведь знал уже, *знал*! Не ведаю, как, но *позналось ему* всецельно чувство это. До *девятого дня* самого зналось, а может, и еще далее того. Вот так я думаю.

Ну а ты тепереча терпи, Андрюшка. Терпи, голубчик. Не придумали тута для тебя табаку. Не найдется тута для тебя огоньку. Не изготовили туточки для тебя самокруточки. Терпи тепереча, Андрюшка. А кабы ранее знать, оно и иначе быть могло. Кабы только *ранее*

знать.